



Санаэ Лемуан
История
Марго роман

18+

ph

Санаэ Лемуан
История Марго

«Фантом Пресс»

2020

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

Лемуан С.

История Марго / С. Лемуан — «Фантом Пресс», 2020

ISBN 978-5-86471-896-4

Семнадцатилетняя Марго живет с матерью, довольно известной театральной актрисой с непростым характером, в одном из центральных округов Парижа. У ее отца, влиятельного французского политика, другая семья, и он очень дорожит своей репутацией. Марго невыносима жизнь “невидимки”, которую она вынуждена вести. Ей тяжело осознавать, что отец видится с ней лишь украдкой, и она решается рассказать свою историю знакомому журналисту, надеясь, что огласка вынудит отца официально признать ее своей дочерью и уйти от жены. Статья в прессе неожиданно и необратимо переворачивает жизни главных героев.

УДК 821.111
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-86471-896-4

© Лемуан С., 2020
© Фантом Пресс, 2020

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	12
3	16
4	25
5	29
6	34
7	40
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Санаэ Лемуан

История Марго

© Анна Гайденко, перевод, 2022

© Андрей Бондаренко, оформление, 2022

© “Фантом Пресс”, издание, 2022

* * *

Моим родителям

Часть первая

1

На сцене моя мать раскрывала свою истинную сущность. Я видела, как в считанные мгновения она преображается, как между ней и зрительным залом постепенно возникает близость. Посреди представления она снимала рубашку – по-мужски непринужденно, как можно было бы снять носки. Потом приподнимала обеими руками тяжелую гриву рыжих кудрей, обнажая длинную шею и расставляя локти, чтобы подчеркнуть линию плеч. Она могла перевоплотиться в кого угодно. К зрителям своих моноспектаклей она обращалась как к старому другу. Я видела, какое воздействие она оказывает на них: они подавались вперед, широко раскрыв глаза, впивая ее всей кожей. Эту фамильярность, дающуюся ей без усилий, она переносила и в обычную жизнь. С незнакомыми людьми она была жизнерадостна и мила. Она ослепляла. Иными словами, моя мать была настоящей актрисой.

В театр она пришла еще подростком, но главную роль, после которой ее карьера пошла в гору, получила только в девяностые, когда мне едва-едва исполнилось пять. Потом начались спектакли-монологи. Постановка, сделавшая ее знаменитой, называлась “Мать” – короткая, энергичная пьеса, длившаяся час двадцать без перерыва. Действующих лиц в ней было мало: муж, жена – ее она как раз и играла, – трое их маленьких детей и отец мужа. Завершался спектакль долгой сценой, в которой мать топит детей в ванне. Ничто в образе матери как будто не предвещало такого финала, хотя вся пьеса была проникнута смутной тревогой, перемежаемой всплесками легкомысленного веселья и нежности. В детстве никто мне не говорил, что моя мать играет женщину, убивающую собственных детей, но я знала, что она и за пределами сцены часто не выходит из роли.

Дома она была для меня чужой. Мне хотелось, чтобы она превратилась в ту, кем была изначально, как будто она могла снова стать собой. Она была вывернута наизнанку, внутренней стороной напоказ. Но я предпочитала видеть ее лицевую сторону, видеть в ней мать в традиционном понимании.

Я хотела гордиться матерью, но чаще всего она меня раздражала. То, чем восхищались в ней остальные, мне казалось преувеличенным и наигранным.

– Так она же играет, – сказала Матильда, когда я ей пожаловалась.

– Но я хочу, чтобы меня трогала ее игра. Я хочу аплодировать стоя вместе со всеми.

– А какого подростка может растрогать собственная мать?

– Хорошего.

– Нам нравится, что ты не хорошая, – сказал Тео.

Тео и Матильда были ее ближайшими друзьями. Матильда, известный дизайнер, работала в театре и специализировалась на вышивке. Она подгоняла мою одежду по фигуре и шила мне платья на выход. Это она придумала костюмы для “Матери”. Тео, ее муж, был танцовщиком. Моя мать в молодости тоже занималась танцами, и поэтому они мгновенно нашли общий язык.

Со мной мать вполне продуманно держала дистанцию. Помню, как я стучалась в закрытую дверь ее комнаты. “*Maman*”, – звала я, думая, что она не слышит стука. В какой-то момент я перешла на Анук – в надежде, что на имя она будет отзываться охотнее. Со временем произносить “*Maman*” становилось все трудней, мягкость согласных входила в противоречие с отчужденностью, которую я так часто испытывала в ее обществе. Слово “Анук”, напротив, заканчивалось резким, угловатым звуком, и, выкрикивая это имя, я как будто сталкивала ее со скалы.

Ее комната была меньше моей, а в щель между хлипкой деревянной дверью и полом можно было просунуть пальцы ноги. Помню, как из-за двери раздавался ее голос, снова и снова повторявший одну и ту же реплику. *“Надо было вызволить тебя из этого мрачного места и испытать поцелуями”*. Я ждала, когда она мне откроет.

Когда мы оставались вдвоем, она окидывала меня серьезным взглядом. *“Нужно перерезать пуповину, – говорила она. – Ничто так не мешает, как чрезмерная привязанность”*. Тогда разница между нами казалась огромной, как будто мы с ней были из разных стран и говорили каждая на своем языке. *“Мать не подруга”*, – постоянно повторяла она, словно пытаюсь оправдать все усиливавшуюся несхожесть наших взглядов. И это была правда. Мы никогда не перешептывались в метро и не держались за руки на улице. Люди, не знавшие нас близко, считали, что мы с ней похожи и что я когда-нибудь тоже стану актрисой. Они думали, что дети наследуют такие профессии от родителей, по аналогии с молодыми писателями, которые опираются на творчество предшественников. Но мне было далеко до ее изящества, мой голос не был таким музыкальным и чарующим, и мужчины на улице не провожали меня взглядами. Она и сама не горела желанием превращать меня в свою копию. Она не научила меня ни танцам, ни актерскому мастерству. Она тщательно ухаживала за кожей и зубами, но никогда не следила за тем, чищу ли зубы я. Когда ее не было дома, я открывала шкаф и перебирала ее платья, поглаживая мягкие шелковые ткани, так непохожие на синтетику, которую носила я сама. Больше всего меня возмущало, что из нас двоих именно мне надо было соблюдать осторожность и следить за тем, что я говорю. Со временем я научилась принимать отсутствующий вид, который все ошибочно объясняли то застенчивостью, то безразличием.

И все-таки, даже когда она вызывала у меня неприязнь, я все равно самозабвенно ее любила. Каждое утро я просыпалась под скрип деревянного пола в ее комнате, потом в чайник с шумом лилась вода из крана. Я знала, что ради меня мать идет на жертвы. Я знала, что необходимость растить дочь мешала ее самореализации. Иногда в ее величавой, рослой фигуре проглядывала прежняя, юная она. В ней проявлялось что-то уязвимое, и я думала: а вдруг мы бы стали друзьями, будь мы одного возраста?

Я думала об этом, потому что мы были очень близки – как соседки по квартире. *“Мы живем одни”*, – говорила она притворно ласковым тоном, в котором привычно сквозило что-то жалобное. Она называла себя матерью-одиночкой, как будто вырастила меня сама, но это было не совсем так: отец у меня был, и он нас навещал.

Ее друзья, в основном коллеги-актеры, приходили к нам в гости и оставались на ночь. От их одежды несло застарелым сигаретным дымом. Они громко делились мнениями и предложениями по вопросам моего воспитания. От одного из друзей, уехавшего за границу, нам досталась кошка с длинным туловищем и густой рыжей шерстью, которая прожила у нас два года. Кошка у нас не прижилась, в руки не давалась и приходила ко мне, только когда я плакала, – терлась о мои ноги, чувствуя, что я расстроена. Прошло два года, и как-то летом она сбежала через открытое окно кухни, да так и не вернулась.

К тому времени, как я перешла в старшие классы, мы уже сменили три квартиры, из которых каждая последующая была меньше предыдущей. Перебираясь все ближе к центру Парижа, мы наконец поселились на Левом берегу. Друзья Анук не понимали, зачем жить в дорогом районе в нескольких шагах от Люксембургского сада. Они недоумевали, как ей хватило денег на такую квартиру. Они винили во всем ее буржуазных родителей. *“Тебя тянет к корням”*, – поддразнивали ее друзья. Но я знала, что дело не в этом. Она любила папу, а ему нравился этот округ. И однажды в конце июня именно здесь, неподалеку от нашей улицы, его другая жизнь ворвалась в нашу и навсегда ее перевернула.

Я только что сдала устный французский. Всю весну я проходила в одном и том же наряде: черные джинсы, вылинявшие в серый от многочисленных стирок, и голубая майка. Мне нравилось, как из-под тонких лямок выглядывает белое кружево лифчика. Анук в свои пятьдесят

семь была великолепна. Узкие бедра, плоский живот, легкая впадинка в области пупка, прямые плечи. Все в ней было продолговатым, за исключением стоп – единственной уродливой части ее тела: красные выпирающие шишки на пальцах, крошечные ногти, которые она красила, чтобы отвлечь внимание от самих ног. У нее был такой же размер обуви, как и у меня. Ее стройные бедра без труда проскальзывали в джинсы даже в середине лета. Я всегда знала, что моя мать красива, – так говорили и ее друзья, и чужие люди, – но только в эти последние месяцы я начала понимать, насколько уникальной была эта красота. Лица большинства людей с годами оплывали, но ее черты становились все более точеными, словно в зрелом возрасте кости черепа заняли правильное положение.

Мы сидели с ней бок о бок за круглым столиком на открытой веранде кафе, напротив домов песочного цвета с узкими коваными балкончиками. В глубине улицы, за воротами сада с острыми золотыми пиками, виднелось море зелени. Близился вечер, стояла самая жаркая пора, солнечный свет отражался от бледных фасадов и падал на тротуары, пылавшие у нас под ногами, как печь. Анук, в соломенной шляпе, подставляла лучам обнаженные руки. Я сказала, что ей пора прикрыть плечи – они уже начинали пунцоветь.

Она говорила с увлечением, и мне почти не приходилось ее расспрашивать. Она рассказывала, что ставит новую пьесу на пару с другом, у которого меньше опыта, чем у нее. Она знала все нюансы работы над постановкой, начиная с написания сценария и заканчивая созданием декораций. В личной жизни она не отличалась большой организованностью, но режиссура ей удавалась хорошо. Актеры, впрочем, были еще новичками. Анук повела головой, легко хрустнув позвонками. Я вздрогнула от этого звука, на мгновение обнажившего внутреннее устройство ее тела. Она стала объяснять, как важно для нее заучивать их реплики наизусть. Ее будут больше уважать, если она сможет их поправлять, заканчивать за них фразы.

– А сколько лет актерам? – спросила я.

– Они ненамного старше тебя, – сказала она. – Только-только окончили училище. Как наступает время обеда, так они исчезают на целый час. Только представь, *час* на то, чтобы съесть сэндвич. Никто не остается порепетировать. Им бы твою дисциплинированность.

Я улыбнулась в ответ на комплимент.

Мимо нашего столика в сторону парка прошло несколько семейств. Больше на улице никого не было. Я развернула печенье *spéculoos*¹, которое принесли к кофе, но передумала есть: не хотелось набирать вес к лету. Анук еще не допила свой *citron presse*². Лимонная мякоть лежала на поверхности толстым слоем. Сахара она не добавляла.

На середине очередной фразы Анук неожиданно осеклась и побледнела.

– Что такое? – спросила я.

Ее взгляд был прикован к женщине, которая ходила взад-вперед по тротуару на противоположной стороне улицы и говорила, прижав к уху телефон. Женщина была мне совершенно незнакома, я не могла припомнить, чтобы когда-нибудь с ней встречалась. Она выглядела ровесницей моей матери, но не походила ни на кого из ее окружения. Строгий бежевый жакет и юбка в тон, светлые чулки и черные туфли на каблуках, темно-каштановые волосы уложены в элегантную прическу. Тонкий шарф с цветочным узором развеялся при ходьбе. До нас доносился ее мелодичный голос, редкие смешки и стук каблуков по тротуару.

– Ты ее знаешь? – спросила я.

Анук шикнула на меня и опустила голову, словно почему-то хотела остаться неузнанной. Потом торопливо вытащила из кошелька банкноту в десять евро и швырнула на стол. Что, хочет уходить? Она явно колебалась, напряженно замерев на самом краешке стула.

¹ Тонкое хрустящее печенье с добавлением коричневого сахара и пряностей. – *Здесь и далее примеч. перев.*

² Прохладительный напиток-конструктор: свежавыжатый лимонный сок, вода, сахар и кубики льда подаются отдельно, а гость самостоятельно смешивает их в тех пропорциях, какие сочтет нужными.

– Ты же даже не допила, – сказала я, показывая на ее *citron pressé*. С запотевшего стакана на стол стекали холодные капли.

Чувства Анук обычно сразу же отражались на ее лице – брови заострялись, как стрелы, губы вытягивались в овал, даже голос становился громче. Она напитывалась энергией, врываясь прямо в огонь, и редко шла на уступки. А теперь она сидела неподвижно, плотно сжав губы, как будто это могло помочь ей обуздать свои чувства. Но что это были за чувства? Почему она так резко закрылась в себе? Она взглянула на женщину и еле заметно вздрогнула. У меня тоже пробежал холодок по коже, и я, в свою очередь, слегка поежилась.

– Идем, – сказала она, встала, в последний раз бросила взгляд на женщину и поспешно подхватила сумку. Поднимаясь из-за столика, я увидела, что женщина свернула за угол и скрылась из виду.

Мы пошли короткой дорогой, через парк. Шагали быстро и молча, обогнули фонтан и нескольких туристов, сидевших на бортике. Мои босоножки быстро покрылись тонким слоем пыли от мелкого гравия. Мы остановились только на светофоре на площади Эдмона Ростана. Я попыталась вызвать в памяти лицо этой женщины, но вспоминались лишь жакет и туфли на квадратном каблуке и то, как она размахивала свободной рукой, а также эффект, который ее появление произвело на Анук, – как удар током. Если бы не это последнее, я сочла бы ее банальной, ничем не запоминающейся, но теперь чем больше я об этом думала, тем больше мне казалось, что она держалась как важная персона, занимая своим телефонным разговором весь тротуар. Она явилась из другого мира.

Дома Анук объяснила, что женщина, которую мы видели на улице возле кафе, – это мадам Лапьер, папина жена.

Я всегда знала о существовании мадам Лапьер, но никогда с ней не встречалась. Я даже фотографий ее не видела. Я знала, что у нее двое сыновей, оба старше меня, и, наверное, мне нужно называть их сводными братьями. Я не читала, что пишут о папе в газетах. Когда его политическая карьера пошла в гору, я притворялась, что меня интересует только раздел, посвященный новостям культуры. Анук же втайне от меня прочитывала всю газету от корки до корки.

– Я сразу ее узнала, – сказала Анук, расхаживая по гостинной кругами. – Всегда ожидала, что рано или поздно наши с ней пути пересекутся, раз уж мы сюда переехали, – продолжала она тонким голосом.

В некотором смысле этому суждено было случиться, и она морально готовилась к возможной встрече, но разве не странно, что она почувствовала присутствие этой женщины мгновенно, как радар, который улавливает колебания электромагнитного поля? Люксембургский сад – это любимый парк моего отца. Неудивительно, что у него общие вкусы с женой, которая демонстрирует всем туфли от Роже Вивье.

На той женщине были такие же туфли, какие носила Катрин Денев в “Дневной красавице”.

Я поморщилась, вспомнив, что Анук как раз недавно купила задешево пару очень похожих туфель.

– Думаешь, она тоже нас узнала? – спросила я.

– Она и понятия не имеет, кто мы такие, – отрезала Анук.

Я отвернулась. В это мгновение все прояснилось, как будто я вдруг вышла из оцепенения. В отличие от мадам Лапьер и ее сыновей, которые могли открыто жить с папой и считать его своей семьей, мы были никем, невидимками. С меня словно бы содрали защитный слой, лишили меня части меня. Это обнажение было слишком неожиданным, и я поежилась, хотя в квартире было тепло. Ни одна фотография, где мы вместе с папой, не была опубликована. Если бы мадам Лапьер увидела меня на улице, она бы даже не поняла, кто я такая. Я представила, как она, одетая в шелка, торопливо проходит мимо.

В моей голове сложился четкий образ папы: вот он приходит к нам в гости и сидит на кожаном диване рядом с Анук; вот стоит у раковины и вытирает посуду; вот листает газету за обеденным столом. Одна лишь мысль о нем вызывала острое ощущение нашей близости. Я была его единственной дочерью, самым младшим его ребенком. Он был моим отцом. Но с появлением мадам Лапьер этот образ поколебался – так чужой человек, пришедший к вам в дом, завладевает вашими вещами. Я вдруг поняла, что в папиной двойной жизни мы оказались не на той стороне. Я посмотрела на Анук, которая наконец перестала ходить по комнате.

– Она такая, как ты ожидала? – спросила я.

– Я ничего не ожидала, – резко ответила Анук и поднялась к себе.

Я осталась одна. Было слышно, как соседи за стеной готовят ужин. Папина вторая жизнь ворвалась в нашу точно так же, как проникал сюда шум из чужих квартир. Но теперь структура нашего существования изменилась, отдельные элементы рассыпались по разным углам, и я, совершенно сбита с толку, ушла в свою комнату и закрыла дверь.

Несколько часов я листала картинки в интернете. Я увеличивала на экране лицо мадам Лапьер, силясь разглядеть, не больше ли у нее морщин, чем у Анук, и не скрывают ли рукава ее жакета оплывшие и дряблые руки. Я выискивала изъяны, недостатки в ее красоте и изучала фотографии, как будто в них содержалось объяснение, почему он выбрал ее. Вплоть до этого момента я сопротивлялась искушению следить за папой и его женой. Анук считала, что если я не буду ими интересоваться, то хранить тайну будет легче. Но теперь, когда мадам Лапьер вошла в нашу жизнь, я просмотрела десятки ее фотографий, восполняя упущенное, и почувствовала, как меня переполняет прежде неведомая жадность. Слишком много всего предстояло узнать.

Мадам Лапьер была хороша собой: круглые щеки, длинные прямые волосы, темные брови над миндалевидными глазами и родинка в уголке рта, которую я издали не заметила. С годами она стала одеваться строже и теперь носила жакеты с подплечниками и узкие юбки длиной до колена. Она происходила из известной в литературных кругах семьи: ее отец, писатель Ален Робер, был одним из так называемых *immortels*³ – членов Французской академии. Этот старик с загорелым морщинистым лицом и сверкающими голубыми глазами мелькал на рекламных плакатах в метро, потому что постоянно писал очередную книгу об удручающем состоянии литературы и политики во Франции. Неудивительно, что его дочь вышла за многообещающего молодого политика, который потом стал министром культуры, – за моего отца.

В детстве мне приходила в голову странная мысль. Если Анук умрет, не удочерит ли меня мадам Лапьер? Возьмут ли они с папой меня к себе? Я проецировала на эту женщину собственную идеализированную версию матери – ласковой, нежной, заботливой. Анук учила меня презирать ее и даже запретила упоминать в доме ее имя, но наедине с собой я чувствовала необъяснимую тягу к ней. Я думала о мадам Лапьер с увлечением, граничащим с одержимостью. Я воображала, как бы она заботилась обо мне. Держала бы меня за руку, мерила бы мне температуру, когда я заболела, провожала бы меня в школу по утрам. Я воображала ее озабоченный взгляд, говоривший: *Бедняжка, она потеряла мать*.

А если умру я, что случится с Анук?

Чем больше я читала о мадам Лапьер, тем больше чувствовала, что интуиция меня не подвела: она оказалась скромной женщиной, не кичившейся своим происхождением. Да, она носила дорогую одежду, но она была не из тех, кто дает пространные интервью с сенсационными подробностями собственной жизни. О сыновьях она говорила с искренней любовью. Она описывала квартиру, в которую они переехали еще до их рождения, рассказывала, как они проводили лето с ее родителями в Дордони. На одной из фотографий она обнимала мальчиков с абсолютно блаженной улыбкой.

³ Бессмертных (*фр.*).

Той ночью мне впервые начали сниться сны, которые потом повторялись снова и снова. Мы с Анук плавали в бассейне без дна, и ей нужно было выбраться из воды. “Я должна отсюда вылезти”, – повторяла она, но подтянуться на руках у нее не получалось. Я подставила ей плечи. Она встала на них сначала одной ногой, потом другой и выбралась из бассейна. А я утонула.

2

Последние недели августа я помню с совершенно сюрреалистичной точностью. Помню, какую еду мы ели и какую музыку слушали, как жар тротуара просачивался сквозь подошвы моих босоножек, как тихо было в спящем августовском городе. Все наши знакомые уехали на лето.

Пыльный, неподвижный от зноя воздух в Париже становился грязнее обычного и резал глаза. На улице мне приходилось щуриться, потому что я постоянно забывала солнечные очки. Вентилятор гонял туда-сюда по квартире теплый воздух, и мы обтирались полотенцами. Открывали окно – ни дуновения. Выход за границы физического комфорта делал нас раздражительными. Я не понимала, как жители тропических стран вообще друг друга терпят.

В нашей квартире было два этажа. Второй, где размещались спальни, напоминал чердак – наклонные потолки, толстые брусья под ними. Спальни разделяла просторная ванная комната, выложенная черно-белой плиткой. В ней стояла ванна на когтистых ножках-лапах, а на стене висело старое зеркало. Мне нравилось видеть свое мутное отражение в поцарапанном серебре. В холодные месяцы, когда Анук экономила на отоплении, я представляла, что наш дом – это санаторий в Альпах, а я – большая туберкулезом пациентка.

Встав ногами на ее кровать и выглянув в окно, я видела весь наш район, тянувшийся от Люксембургского сада до площади Монжа. Мы называли его “наш пустырь”, потому что дорога до любой станции метро занимала пятнадцать минут. Мы ходили пешком, а папа приезжал к нам на машине.

Месяц назад совсем молодой умерла американская певица с длинными жгутами угольно-черных волос, и из радио лился ее низкий голос, обволакивая нас, хотя мы понимали далеко не все слова.

Моя лучшая подруга Жюльет уехала из города до сентября, и я почти все лето проводила в одиночестве. Недели перетекали одна в другую. Мы с Жюльет говорили по телефону и обменивались электронными письмами, в пылких, длинных и витиеватых выражениях описывая, как у нас прошел день. Она рассказывала о бабушке, больной раком, и о дедушке, который каждое утро сбегал из дома, чтобы позвонить своей любовнице из деревенской табачной лавки, где он покупал газеты. Жюльет никогда не видела моего отца, но знала, кто он такой. И тем не менее я не могла решиться рассказать ей о нашей встрече с мадам Лапьер. Вместо этого я рассказывала о фильмах, которые ходила смотреть одна, и о том, как проводила дни у фонтана в Люксембургском саду, наблюдая за кудрявым парнем-студентом старше себя. Я ждала, что он меня заметит, но для него я была слишком маленькой.

Социальная иерархия в моем лице была определена раз и навсегда, и очень немногие могли похвастаться привилегией встречаться с кем хотят. Мы с Жюльет в число этих немногих не входили. К внешности это имело очень отдаленное отношение, потому что положение даже тех девушек, которые в одночасье расцветали, нисколько не менялось – они оставались непопулярными. Я думала, уж не уродина ли я. Я знала, что до красоты Анук мне далеко, но было интересно, так ли уж я непримечательна и есть ли во мне хоть немного ее света.

Несмотря на все то, что я писала Жюльет, на самом деле я вовсе не торчала в Люксембургском саду, надеясь, что тот парень обратит на меня внимание. Этим летом я практически туда не ходила, хотя там было очень тихо и безлюдно: в городе почти никого не осталось. Я боялась снова увидеть мадам Лапьер и избегала появляться около сада, в шестом округе. Вдруг она посмотрит на меня и что-то в моем лице меня выдаст? Вдруг я увижу ее вдвоем с папой?

Я сидела дома, читала, обмахивалась газетами, сохраняя фотографии мадам Лапьер и ее сыновей в папке под названием “другие”. Я ждала, что Анук снова заговорит о ней, но та

как будто сознательно вычеркнула из памяти этот день. Меня бесило, что она живет дальше как ни в чем не бывало и даже не думает о нашей встрече с мадам Лапьер.

В утро своего семнадцатилетия я проснулась как от толчка. Раньше мне казалось, что это будет очень важный момент: я стану на год ближе к совершеннолетию, и всего год останется до окончания школы. Я потянулась под тонкой простыней. Мы ничего не планировали на этот день, и он обещал оказаться таким же пустым и унылым, как и все остальное лето.

Мы с Анук отмечали дни рождения без особого энтузиазма. Когда наступала моя очередь, я с самого утра вручала ей какой-нибудь небольшой подарок и говорила: "*Joyeux anniversaire*"⁴, чтобы сразу со всем этим покончить. Во время празднований я чувствовала себя неловко – может быть, потому, что она не научила меня получать от них удовольствие.

Я бродила по квартире. Было ясно, что Анук уже встала. В раковине стояла ее грязная чашка, а ванна была мокрой – она приняла душ. Я слышала, как она разучивает слова у себя в комнате, но это был мой день рождения, и я хотела, чтобы она уделила внимание мне. Я постучалась к ней и громко позвала ее по имени. Она никак не отреагировала.

Меня вдруг охватили мрачные и противоречивые чувства.

Наконец дверь распахнулась, и я, вздрогнув, отступила назад. Кожа моей матери сияла. В это мгновение я возненавидела ее за то, что она не научила меня лучше ухаживать за собой. Кремами она со мной тоже не делилась.

– Ты же знаешь, что я работаю, – сказала она. Это прозвучало резко, но она злилась не так сильно, как я ожидала. – Что тебе нужно?

– Чтобы ты говорила потише, – ответила я. – Я пытаюсь читать.

Она помедлила с ответом, придерживая рукой дверь. Потом ее напряженные плечи расслабились, и она улыбнулась.

– У тебя же день рождения, – сказала она, как будто только что вспомнила об этом. – С днем рождения, дорогая. Сейчас сварю тебе горячего шоколада.

В такую жару я бы предпочла холодные хлопья, но это был ее единственный и традиционный способ побаловать меня в день рождения. Она растопила порезанный на кусочки горький шоколад, добавив молока и немного сливок, и поставила чашку передо мной на стол.

– Ты стала на год умней, – сказала она, наблюдая за тем, как я ем.

Я окунула в горячий шоколад кусочек тоста с маслом. На поверхности появились соленые кружочки жира.

– Что ты хочешь в подарок? – спросила она.

Я отложила тост, вытерла пальцы и сделала вид, что раздумываю над ее вопросом, но ответ уже вертелся у меня на языке.

– Я хочу, чтобы мадам Лапьер узнала о нашем существовании, а еще я хочу, чтобы он бросил ее и жил с нами. – Я говорила спокойно, надеясь, что мои слова прозвучат беспечно, как будто мне все равно.

Она закатила глаза.

– Вечно ты требуешь невозможного. Твой отец никогда не будет жить с нами.

– Но, может, если она узнает о нас, то бросит его, и ему придется переехать к нам.

– Я уверена, что кое-что она и так знает.

– Ты же говорила, она и понятия о нас не имеет.

– Конкретно о нас – нет, но она умная женщина. Я бы не стала держать ее за дуру.

Анук с нервным смешком запустила пальцы в волосы. Я взглядела в нее внимательней.

– Ты надеялась, что когда-нибудь мы с ней столкнемся.

– Она знает, – повторила Анук, не обращая на меня внимания.

– Почему ты так уверена?

⁴ С днем рождения (*фр.*).

Ее убежденность меня потрясла. Я ей почти поверила, но у меня возникло ощущение, что к этому выводу ее подтолкнула одна лишь наша короткая встреча с мадам Лапьер и что значение этой встречи она обдумала давным-давно. Анук пристально смотрела на меня из-за кухонной стойки.

– Да и вообще, с чего ты взяла, что она *захочет* его бросить?

Я сделала глоток, и горячая вязкая жидкость встала комом в горле. Вымоченный в шоколаде хлеб превратился в папье-маше.

– И с чего ты взяла, что я захочу, чтобы он жил с нами? – спросила Анук.

Она ушла в гостиную и уселась в кресло. Я видела ее краем глаза. Она поставила стопы на массажер для ног – папин подарок – и включила его. Прибор ожил и загудел, и по ее ногам побежали мягкие волны вибрации. Она настроила массажер на самый низкий режим.

– Я не всерьез, – сказала я, и прозвучало это так, будто я оправдываюсь.

– Позволь я тебе кое-что скажу. Твой отец и мадам Лапьер уже много лет не были близки. Они спят в разных кроватях. Это брак по расчету. У них платонические отношения.

– Откуда ты знаешь?

– Что?

– Что он с ней не спит?

Анук засмеялась в своей привычной театральной манере и переключила режим на массажере.

– Ты права, Марго, – сказала она уже мягче. – Мы ничего о них не знаем. Мы не знаем, как выглядят их отношения изнутри. Невозможно судить о чужой интимной жизни со стороны. Впрочем, едят и устраивают стирку они вместе.

Она закрыла глаза. Ее широкая рубашка спускалась ниже бедер, но, когда стопы подпрыгивали от толчков массажера, я видела темные промельки у нее между ног.

– Ты этого не знаешь, – сказала Анук, – но твой отец не любит перемен. Он бы не смог взять на себя ответственность, если бы мы внезапно вторглись в другие сферы его жизни.

– Это же абсурдно, – сказала я, тряхнув головой, и отодвинула чашку с шоколадом. У меня пропал аппетит. Я пыталась подобрать слова, чтобы переубедить мать, но ничего не шло на ум.

– О господи, не делай такие большие глаза. Ты что, плакать собралась? Как же он тебя избаловал, что ты плачешь по малейшему поводу.

Анук говорила так, будто я не ее дочь. К моим щекам и шее прилила жаркая кровь.

– Почему ты ведешь себя так жестоко? Да еще и в мой день рождения.

– Не драматизируй.

– Мне просто жаль, что мы не живем с ним.

– Ты все время хочешь, чтобы последнее слово оставалось за тобой. А сейчас ты, наверное, хочешь жить еще и с ней.

Анук нарочно не называла ее по имени – мадам Лапьер или Клэр, – хотя оно было ей прекрасно известно. Иногда она говорила *la dame*, эта женщина.

Она выключила массажер и вернулась на кухню.

– Однажды утром ты спустишься вниз, а меня здесь не будет. И тогда тебе уже не придется делить его со мной. Но не жди, что он сюда переедет. Ты будешь завтракать в одиночестве, а он будет навещать тебя, когда ему удобно.

Ничто не могло напугать меня сильнее, чем возможность потерять мать, и все же я ощутила какой-то пульсирующий трепет, когда она произносила эти слова. Если бы она меня бросила, у меня бы появилась очевидная причина винить ее, а не это смутное чувство неудовлетворенности. Я мучительно пыталась придумать, чем ее задеть.

– Да, – сказала я, – может, я бы и ушла жить к ним. Она, наверное, стала бы лучшей матерью, чем ты. Ты никогда не была мне хорошей матерью.

- Разве существуют *хорошие* матери?
- В школе меня дразнили грязнулей.
- Вечно тебе есть дело до того, что подумают другие.
- Ты забывала меня искупать.
- Дети многое запоминают неправильно, и им нельзя верить на слово.
- Ты со мной месяцами не разговаривала.

Она отвернулась. Я не была уверена, правда это или нет, но мне смутно помнилось, как тяготило меня лет в шесть-семь ее молчание, словно само мое присутствие глубоко оскорбляло ее.

– Чего ты хочешь? – спросила она, как будто смысл моих слов наконец дошел до нее. – Как это я воспитала дочь, которая жалуется, которая недовольна тем, что имеет, которая не видит преимуществ своего положения?

Ее широко раскрытые глаза блестели. Она приблизилась ко мне.

– Я выкормила тебя, – сказала она. – Я поила тебя молоком вот отсюда.

Она ткнула себя в маленькие груди, болтавшиеся под рубашкой. Я представила себе ее втянутый левый сосок. Было ли ей трудно кормить меня этой грудью и всегда ли ее сосок выглядел так?

Я молчала. Мне, конечно, было стыдно, но я не хотела признавать свою неправоту. Я не знала, как перед ней извиниться. Я хотела только сказать, что мне не хватает отца и что я хочу видеть его чаще.

Некоторое время мы только молча смотрели друг на друга. Потом Анук подошла ближе, села за стол и взяла мою ладонь в свою. От этого прикосновения по моей руке разлилась волна ужаса и тепла.

Когда Анук отправляла меня в летний лагерь, где никто ничего обо мне не знал, я притворялась, что отец живет с нами. Мы с моими новыми друзьями пили горячий шоколад, окуная в него хлеб, пока тот не размокал и не разваливался, и я придумывала себе другую жизнь. Мой папа – преподаватель, который разбрасывает бумаги по всей квартире. Он бизнесмен, который путешествует по всему миру. Он безработный лентяй, который даже не в состоянии содержать семью.

– Разве ты не хочешь состариться вместе с ним? – спросила я.

Она покачала головой.

– Опять ты со своими сказками. Наедине с собой никто не бывает счастлив.

– Это неправда, – сказала я. – Взяй вот тебя. Ты всегда выглядишь счастливой.

– Это только твоя интерпретация.

Ее глаза сверкнули, и она выпустила мою руку.

3

В последний раз я видела папу через неделю после дня рождения. В тот день я проснулась раньше Анук, зашла к ней в комнату и встала на пороге, разглядывая ее спящую. Она лежала ко мне спиной, укрывшись белой простыней. Я знала, что ткань скрывает изящные ноги и тонкие голени, хотя с моего места они выглядели как вздувшиеся вены на руке, как бесформенные трубы. Она почти всегда вставала раньше меня, но прошлой ночью легла за полночь. Я позвала ее по имени, и, услышав мой голос, она повернулась ко мне, открыла глаза и несколько мгновений смотрела на меня пустым взглядом, как будто не узнавая.

Потом она улыбнулась.

– Ты так выросла, – сказала она.

Я заметила, что перед сном она забыла смыть тени для век – зеленую пудру, от которой ее веки казались пористыми.

– В твоём возрасте я училась в школе-пансионе, – напомнила мне она. – Делала себе сэндвичи с горчицей и майонезом и ждала писем от матери.

Но письма все не приходили, поэтому она ела и набирала вес. Она ела спагетти за себя и за подругу, потому что все остальные девочки следили за фигурой. Их аппетит удовлетворяли письма от родителей, приходившие как раз во время еды.

Брат, который на два года старше ее и с которым они были очень дружны в детстве, окончил школу годом раньше и теперь учился на доктора в Лионе. Он был слишком занят, чтобы приезжать во время ее каникул, и поэтому она часто возвращалась в пустой дом.

Летом перед выпускным классом она проглотила все таблетки, какие смогла найти в материнском шкафчике.

– Потом я сразу вызвала рвоту, – сказала она, – и отключилась посреди бела дня прямо на полу у себя в комнате. Когда на следующее утро я очнулась, жизнь продолжалась как обычно. Мать так ни о чем и не узнала. Мы с ней давно уже отдалились друг от друга, но в тот момент ее безразличие потрясло меня особенно сильно. Как она могла не заметить, что это был крик о помощи? Разве ей не показалось странным, что я проспала двадцать часов подряд? Но нет, мы просто сели есть тосты и пить кофе, как и всякая приличная семья.

О таблетках я слышала впервые. Я взглядела в лицо Анук в поисках ответа.

– Ты действительно хотела покончить с собой? – спросила я.

– Я так думала.

Ее ответ меня поразил. Она всегда тщательно за собой следила, и казалось, что она наслаждается жизнью. Я попыталась представить ее такой, какой она была в моем возрасте, – не такой жизнерадостной, не умеющей владеть собой. Это оказалось трудно.

– Мне надо было пойти к психотерапевту, – сказала Анук, – но вместо этого я стала актрисой.

Я ощутила в животе слабый толчок боли. Мне инстинктивно захотелось заглушить ее голос в голове. Она рассказывает мне все это, чтобы оправдаться за то, что была мне плохой матерью? И что за урок она хочет мне преподать?

– Почему она так поступала с тобой? – спросила я.

– Моя мать? – Анук помолчала немного и потерла виски. – Давай подумаем. Может быть, потому, что ей было все равно, или она была поглощена собой, или несчастлива в браке.

Я поняла намек: тебе повезло больше, чем мне.

Анук вытащила из-под головы подушку и прислонилась к стене. Ее медно-рыжие волосы вились вокруг шеи и сияли, не то что мои, каштановые и прямые. Лиловые вены на руках и морщинки в уголках глаз и рта выдавали ее возраст. Кожа была не такой упругой, как у меня,

но более нежной. Мое лицо было гладким и блестело под струей горячего воздуха, которую выплывывал в нашу сторону вентилятор.

– Я иду вниз, – объявила я, закрыла за собой дверь и спустилась по лестнице.

Несколько друзей Анук остались у нас ночевать. Они заняли два дивана. Я с ужасом думала о том, что придется за ними убирать. Они ели нашу еду, и полотенца после них оставались влажными. Иногда они прятали бычки за подушками дивана. Я как-то видела, что они налили воды в бутылку из-под водки, – можно подумать, мы бы ни о чем не догадались, увидев, что наутро она замерзла. “Поумерь свой снобизм, – повторяла Анук. – У многих из них сезонная работа, и им не так повезло, как нам”. Тео и Матильда были совсем другими. Они были все равно что часть семьи; они готовили, помогали нам прибираться и предпочитали ночевать у себя дома, даже если для этого им приходилось очень поздно возвращаться на такси.

Утренние лучи протискивались сквозь опущенные жалюзи в гостиной, разрисовывая ее желтыми полосками. Я прошла на кухню и остановилась у раковины. Окно было приоткрыто, и прохладный ветерок обдувал мое лицо. Я ждала, пока все проснутся и разведутся. Через час должен был появиться папа.

К его приезду наша квартира опустела. Анук была наверху и говорила по телефону с братом-кардиологом, который теперь жил в Страсбурге с женой, а я ждала на кухне. Я услышала, как в замке звякнули его ключи, как в прихожей раздались его шаги. Наконец-то он пришел, и от предвкушения встречи у меня кружилась голова. Я представляла, как он разувается и ставит портфель на стул. Я ждала, когда же он пройдет по коридору и обнаружит меня.

Как только он появился на пороге, волна эйфории поднялась у меня внутри и разлилась по телу. Я дотронулась до шеи, чтобы охладить пальцами красные пятна. Улыбаясь, он подошел ко мне. Я так и осталась сидеть за столом, и он поцеловал меня в обе щеки. Я сделала вид, что мне все равно, как будто это было нашим обычным утренним ритуалом, но скрыть радостное возбуждение, которое охватывало меня при каждой нашей встрече, было трудно. Стоило ему войти в квартиру, и я тут же бросала все, чем бы ни занималась, – и чтение, и учебу. Я отвлекалась на шуршание его шнурков, на шелест его пальто или куртки и больше не могла ни на чем сосредоточиться.

Папа стоял передо мной – среднего роста, на полдюйма выше Анук, плотный, широкогрудый, но не то чтобы толстый. У него были ровные квадратные зубы и крупный нос с похожими на пещеры широкими ноздрями, а кожа от многолетнего курения приобрела землистый оттенок, хотя курить он бросил задолго до моего рождения. Волос в этих впечатляющего размера ноздрах не было. Светлые ореховые глаза желтоватого оттенка напоминали мои. Матильда однажды назвала его в традиционном смысле привлекательным – в тридцать с небольшим, когда он встретил Анук, женщины постоянно обращали на него внимание. Я думала, что тут дело не столько во внешности, сколько в том, как он умел себя подать – он очень тщательно следил за собой. Полная противоположность неряшливости. Сегодня он надел отглаженную хлопковую рубашку и заправил ее в темно-синие брюки. Я восхищалась тем, как элегантно он всегда выглядит и как чисто бреется – даже в выходные, на тот случай, если придется бежать в офис.

Прямоугольный стол в нашей узкой кухне был придвинут длинной стороной к стене. Возле стола стояли два стула и еще один – с торца. Мы с папой сели бок о бок, глядя в белую стену. Мне не нравилось смотреть ему в лицо, когда он говорил.

– С днем рождения, – сказал папа и вытащил из-под стола подарок.

Он держал его в руках, когда вошел, а я и не заметила. Я поблагодарила его. В день рождения он позвонил мне поздно вечером, после ужина. Я проверяла телефон каждый час в ожидании звонка – боялась, что он забыл, потому что знала, как сильно он расстроится, и в то же время надеялась, что он не позвонит, и тогда я смогу целиком предаться грусти, позволю своей злости обрести четкие очертания, почувствую укол мрачного удовлетворения. Он плохой

отец. Может, это Анук напомнила ему в последнюю минуту. Он звонил мне каждый год, а иногда мы встречались, но чаще он бывал занят на работе.

Я развернула подарок. Это была книга одного современного философа.

– Я услышал по радио увлекательное интервью с автором, – сказал папа, – и сразу подумал о тебе. Он рассказывал о культурных различиях. Ты умная. Я знаю, что тебе понравится.

Я пролистала книгу, сделав вид, что прочитала пару фраз то здесь, то там. От папы пахло мылом. Мы не виделись уже несколько недель. Его тонкие каштановые волосы прилипли ко лбу, как будто он только что снял свитер.

– Как прошел день рождения? – спросил он.

– Хорошо. – Я отложила книгу. – Ты думал обо мне?

– Конечно. – Папа нахмурился, словно испугавшись, что я не шучу. – Ты спрашиваешь, потому что я не провел этот день с тобой?

Я посмотрела на его руки. Они лежали перед ним на столе, там, куда обычно ставят тарелку. Он коротко стриг ногти, а кожа у него была гладкой и бледной, хотя в юности ему приходилось водить грузовики, таскать ящики с вином и помогать матери рыхлить овощные грядки. Но это было давно. С тех пор его руки касались бумаг, книг, микрофонов, кожаной ручки портфеля.

– Нет, – сказала я, – я не расстроилась.

– Это хорошо.

Я сложила салфетки в ровную стопку на столе.

– Можно я тебе кое-что скажу? – спросила я, не глядя на него.

– Конечно, Марго.

У меня екнуло в животе. Вообще я не собиралась ему ничего рассказывать, но не успела еще раз подумать и уже открыла рот.

– Я видела ее на днях. Твою жену Клэр.

Только что сама мысль о том, чтобы произнести эти слова, казалась захватывающей, но теперь я начала нервничать. Я сама не знала, чего хочу от него.

Папа напрягся. Его шея чуть дернулась, но потом он овладел собой.

– И где это было? – спросил он.

– Около Люксембургского сада. Мы сидели в кафе и увидели ее на улице.

Я скрестила ноги под стулом, вода босыми пальцами по холодной плитке.

– Вы были с мамой?

– Это она ее узнала. Я и не представляла, как она выглядит.

Папа отвернулся. Его молчание меня смущало, и я рискнула продолжить.

– Мы сразу ушли оттуда, – сказала я.

К моему изумлению, он взял мои ладони в свои, и я вздрогнула от прикосновения его теплой и по-старушечьи тонкой кожи.

– Твоя мама расстроилась?

– Не очень. Не переживай, – добавила я, – она нас вряд ли видела.

– Даже если бы и видела, она бы вас не узнала.

Я помолчала немного, тщательно обдумывая, что сказать. В квартире было тихо. Анук закончила говорить по телефону и вот-вот должна была появиться.

– Ты ни разу не проговорился о нас? – спросила я.

Папа покачал головой.

– Все совсем не так. Я не стыжусь вас. У меня нет ощущения, будто я скрываю от всех тебя и твою мать.

– Правда?

Я изучала его лицо, пытаюсь понять, правда это или нет, но расшифровать его выражение было непросто. Он был искусным лжецом. Анук намекала, что мадам Лапьер подозревала своего мужа в неверности, и в глубине души я невольно верила ей.

– Ты когда-нибудь расскажешь ей о нас? – спросила я.

Он проигнорировал мой вопрос и вместо ответа сказал, что станет полегче, когда я окончу школу, когда стану взрослой.

Имел ли он в виду, что как взрослая женщина я сольюсь с окружающими его мужчинами и женщинами, стану просто одной из участниц деловой встречи и, может, однажды буду даже организовывать вместе с ним очередную кампанию? А как молодая девушка я сильно выделяюсь? По-видимому, он думал, что все это скоро закончится – не сама тайна нашей семьи, а необходимость прилагать огромные усилия, чтобы ее скрывать.

– Я никак не могла перестать думать о ней, – прервала его я. – Увидев ее тогда, я поняла, что ничего о ней не знаю.

– А что ты хочешь узнать?

– Я бы ей понравилась?

– Да, – ответил он слишком поспешно.

– А она мне?

– В конце концов, да. – Он улыбнулся.

– А что в ней мне понравилось бы?

Он расслабился и заговорил мягко. Я поняла, что при встрече с мадам Лапьер, в отличие от Анук, нелегко увидеть, какая она на самом деле. Ее внутренняя сила скрыта от чужих глаз. С первого взгляда большинство людей считают ее застенчивой. Дважды, когда у нее начинались схватки, она сама приезжала в больницу. Она прекрасно готовит. Мне бы понравилась ее еда. Упрямства Анук ей недостает. Она более гибкая.

Его слова прокатывались эхом по тесной кухне. Я с трудом понимала их смысл. Где же был он, когда у нее начались схватки? Добрее ли она, чем Анук? Почему он выбрал женщину, настолько не похожую на мою мать? Захотела бы она вообще иметь со мной дело? Все эти вопросы крутились у меня в голове, но я не могла произнести их вслух. Я старалась совместить его описание с воспоминаниями о той женщине на улице. Я отметила, что он сравнивает ее с Анук. Видно, он не мог подумать об одной из них, не вспомнив другую. Я с детства знала, что он женат, но теперь мне казалось, что он меня предал, как будто я неожиданно обнаружила, что у него роман на стороне. Как звучит ее голос, когда она рядом? Сидят ли они на диване перед телевизором, соприкасаясь ногами? Их сыновья, которые уже жили отдельно, интересовали меня в меньшей степени. Один из них был женат и жил в Брюсселе, а второй учился в университете в Лондоне. Я слушала в оцепенении, и внезапно меня поразило, что интуиция подвела мою мать: она считала, что они с мадам Лапьер поженились по расчету и что в их браке нет и следа любви, а на самом деле их отношения оказались намного ближе к тем, которые связывали с папой ее саму.

– Ты любишь их обеих? – спросила я, поражаясь собственной наглости.

Он с трудом сглотнул, будто я предложила ему съесть кучку рыбьих костей. Я видела, что ему больно.

– Больше всего я люблю своих детей, – сказал он.

Мы услышали шаги Анук на лестнице и замолчали, ожидая ее появления. Она вошла на кухню и подняла брови. Едва ли она могла уловить хоть слово из нашего разговора, и все-таки я густо покраснела. Она поцеловала папу и пригладила его волосы.

– *Bonjour, ma chérie*⁵, – сказал он, поднялся с места и начал готовить завтрак.

⁵ Здравствуй, моя дорогая (фр.).

Нарезанный хлеб поджаривался в тостере, на плите закипал кофе в гейзерной кофеварке, на тарелке таяло масло. Для Анук предназначался ванильный йогурт. Она села за стол, даже не взглянув на еду. Ей вообще было неинтересно есть дома. Готовить для других изредка приходилось, однако необходимости идти в магазин за продуктами она стремилась избежать любой ценой. Но когда мы ели в ресторане, она первой заказывала стейк с фуа-гра, не задумываясь о том, что ей или мне нужно следить за весом. Она уничтожала все, что ей приносили, с большим аппетитом и зачастую съедала десерт в одиночку. Я подтолкнула к ней тост, она отщипнула от него кусочек и принялась крошить пальцами.

Папа ел с огромным наслаждением. Он густо намазывал хлеб маслом, заполняя воздушные пустоты и распределяя масло по всему ломтику до самых краев. Откусывая большие куски и работая всей челюстью, он быстро прикончил половину багета. Родители кормили его пастой, рисом и дешевым мясом. В детстве он ел вчерашний хлеб, макая его в какао “Несквик”, и я решила, что именно поэтому он предпочитает хлеб зачерствевший и неподжаренный.

Он родился в маленьком городке на севере Франции, где небо было серее, чем парижская зима. Его родители упорно работали, чтобы обеспечить детям хорошее образование в ближайшем крупном городе. Потом он выиграл конкурс на стипендию и поступил в парижский университет, чтобы изучать литературу. Он был самым младшим на курсе, кто сдал *l'agrégation*⁶. Несколько лет он преподавал литературу, а потом с благословения тестя ушел в политику.

Папа так и не стал здесь своим, и это проявлялось в мелочах. Хоть он и прожил в Париже уже несколько десятков лет, настоящего парижанина из него не вышло. Я видела это по его одежде. Он разбирался в брендах, но предпочитал классику и с двадцати лет покупал носки и белье одной и той же марки. Он хотел стать *la crème de la crème*⁷, но при этом пытался доказать, что достоин своего положения, а надо было принимать его как должное, как сделал бы местный житель. Он хвастался знакомством со значительными людьми и никогда не ходил в новые рестораны – только в те, которые работали уже не первый год и удостоились одобрения критиков. Свое происхождение он компенсировал, подтрунивая над парижанами, но при этом посмеивался и над родным городом, и казалось, что он чужой и там и тут. Я думала, что наша с Анук квартира – единственное место, где ему комфортно и где он становится собой.

Мадам Лапьер происходила из очень образованной семьи, принадлежавшей к высшему обществу. Всю свою жизнь она прожила в шестнадцатом округе, возле Пасси, и я мучительно пыталась представить в этих местах папу. Я воображала, как он сидит на краешке кожаного дивана или постоянно смотрит в окно, мечтая оказаться где-нибудь подальше оттуда.

Я почувствовала облегчение, когда узнала, что он родом не из Парижа. Этим он отличался от всех нас. То, что он вырвался из глухой провинции, придавало ему героизма, хотя некоторые критики утверждали, что из-за своего происхождения он консервативен и мыслит ограниченно. Я не понимала, что именно это значит. Я со страхом думала о том, что с ним станет, если все это исчезнет, если он перестанет считаться *la crème de la crème*, если его больше не будут приглашать на важные вечеринки, если он уже не сможет позволить себе обед в брассери “Липп”. Я видела, что его глаза загораются от восторга, стоит нам заговорить о Люксембургском саде, и что его восхищение граничит с наивностью. Мне повезло с карьерой, говорил он, и я знаю, что все это может исчезнуть в мгновение ока, но в таком случае я смогу вернуться к прежней простой жизни.

Впервые он приехал в Париж с сестрой, родителями и двумя тетками. У них была такая маленькая машина, что ему пришлось сидеть в багажнике, прижавшись коленями к заднему стеклу. Сестра пряталась в юбках тетки, которая начинала молиться всякий раз, когда на дороге появлялся грохочущий грузовик. Она думала, что любая машина, едущая навстречу, обяза-

⁶ Экзамен, дающий право преподавать в вузе (*фр.*)

⁷ Лучшим из лучших (*фр.*)

тельно в них врежется. Париж по сравнению с его родным городом, где насчитывалось всего пять тысяч жителей, был просто гигантским.

Семья, в которой родилась Анук, разительно отличалась от его собственной. Она выросла в богатом городке Ле-Везине под Парижем, ходила в школу-пансион, а летние каникулы проводила в Сен-Тропе, катаясь на мотоцикле с друзьями, причем иногда не надевала на эти прогулки ничего, кроме обуви. Выйдя на пенсию, ее родители переехали в красивый домик в Бургундии. Мы виделись с ними в лучшем случае раз в год. У папы же с его родителями были очень близкие отношения.

На первый взгляд мои мать и отец казались полными противоположностями. Она без труда осваивалась в любом городе и в любой стране. Для нее было важнее уметь как следует накладывать макияж, чем учиться водить машину. Ее не заботило, что думают о ней другие, и она не пыталась угодить всем и каждому. Он, напротив, был не настолько уверен в себе и, когда чувствовал угрозу, замыкался и становился молчаливым, а губы его сжимались в тонкую линию. Его взгляды и в личной жизни, и в политике стали либеральнее под влиянием Анук. Большинство ее друзей были социалистами, и она обычно голосовала за левоцентристов.

Я знала, что они все еще занимаются любовью. Иногда они исчезали на час-другой в ее комнате. Однажды я постучалась к ней, чтобы кое-что спросить, и она довольно долго не открывала. Когда же дверь наконец распахнулась, Анук стояла завернутая в полотенце, раскрасневшаяся и ненакрашенная, волосы были убраны назад, влажные пряди заправлены за уши.

В такие выходные, когда мы завтракали с папой, мне даже начинало казаться, что мы живем вместе. Мы просыпались в одной и той же квартире, спускались по лестнице и приступали к этому ежедневному ритуалу.

– Ты уже думала о том, куда пойдешь в следующем году? – спросил папа.

В старших классах я выбрала престижное направление *scientifique*⁸ – главным образом из-за него, а не потому что мне так уж нравилась программа. Математику я ненавидела.

– Не знаю пока. Думала подавать в Институт политических исследований.

– *Les sciences politiques*⁹. – Судя по его тону, он был доволен. – Идешь по моим стопам?

– Ей просто нравится делать вид, что она не моя дочь, – сказала Анук, поворачиваясь к нему.

– Ты говоришь так только потому, что я не хочу творческую профессию.

– Это прекрасный институт, – сказал папа, – и ты не обязана изучать политологию. Как насчет социологии или права? Зимой тебе придется составлять портфолио и готовиться к письменным экзаменам.

– Она думает, что ты будешь платить за ее обучение, – сказала Анук.

Хотя это было произнесено шутливым тоном, меня разозлили ее слова.

– Я могу получить стипендию.

Папа допил кофе и с довольным видом оглядел кухню. Анук редко пользовалась дорогими кастрюлями и сковородками, которые он купил ей за эти годы. Она со студенческих лет предпочитала готовить на одной и той же поцарапанной сковородке.

– А где бы ты хотела жить, если бы могла выбрать любой район в Париже? – спросил меня папа.

– На Правом берегу.

– Там очень тесные улочки, я это не люблю. А разве тебе не нравится жить рядом с парком?

⁸ Специализация на естественных науках (*фр.*).

⁹ Политические науки (*фр.*).

– Если бы я жила в одиннадцатом или девятнадцатом округе, у меня было бы побольше пространства.

– Тебе не кажется, что и здесь пространства вполне достаточно? – вклинилась Анук.

– Здесь неплохо, – сказала я. Я знала, что папа помогает нам платить за аренду.

– Когда ты была маленькой, Марго, ты хотела стать архитектором, – сказал он. – Ты часами рисовала дома.

Я слушала его и вспоминала, что представляла, как мы живем в этих домах втроем.

– Ты была помешана на идее центра, – продолжал он. – Ты рисовала нас в разных комнатах в зависимости от того, какой у каждого внутренний центр – не географическая середина дома, а пространство, подходящее для души его обитателя. Нам предназначались те комнаты, которые лучше всего отражали наши характеры.

– В твоём случае это была кухня, – сказала я и улыбнулась ему. – Просторная кухня с самым лучшим оборудованием.

– Да-да, я должен был стать шеф-поваром.

– А где был мой центр? – спросила Анук.

– В пустой комнате с зеркалами от пола до потолка, – невозмутимо ответила я.

– Хочешь сказать, что у меня нарциссизм?

– Ты любишь смотреть на себя, когда репетируешь.

– А твой центр где был, Марго? – спросил папа.

– Не помню.

– А где бы он был сейчас?

– Я не могу представить свой центр.

– Попробуй.

Я окинула взглядом кухню, потом гостиную с балконом, на котором мы с Анук в теплое время года подставляли ноги солнцу и ждали, когда в конце улицы появится папа. Балкон был нейтральной территорией, где я могла побыть отдельно от отца и матери, но не расставаться с ними. Я как будто оказывалась на краю света, на границе между улицей и жизнью с Анук.

– Балкон, – сказала я им. – Он между квартирой и улицей.

– Чистилище, – сказала Анук.

– Сквозь стеклянные двери видно, что происходит внутри, – сказал папа. – Моя дочь – вуайеристка.

– Через балконы в дом заходят воры и убийцы, – подхватила Анук.

– Ты слышишь зов пустоты, – сказал он, – и эта пустота тебя манит. Ты хочешь узнать, каково это – летать.

– Или умереть, – мрачно отозвалась Анук.

Мы засмеялись. Я собрала наши тарелки, отнесла их к кухонной стойке, набрала в раковину горячей воды и замочила посуду. Остатки еды всплыли на поверхность. Папа повязал вокруг пояса белый фартук и закатал рукава. Он всегда мыл посуду, когда приходил к нам. Анук осталась на кухне с ним. Я извинилась и ушла к себе в комнату, захватив книгу, которую он подарил мне на день рождения. Я поставила ее на полку к остальным книгам, легла на узкую кровать и широко раскинула руки и ноги, так что они свесились вниз. Я не собиралась поступать в Институт политических исследований, это просто было первое, что пришло мне в голову, когда папа спросил, потому что я знала, что его такой ответ впечатлит.

Пару часов спустя, когда я пошла на кухню налить себе воды, папа и Анук были в гостиной. Они сидели на диване и смотрели шоу о путешествиях. Окна были распахнуты настежь, и экран телевизора бликовал от солнечного света поздним утром, но то ли они ничего не замечали, то ли их это не смущало. Он положил ее ноги себе на колени и массировал пальцы. Ей нравилось, когда поглаживают ее стопы.

Кухня была вылизана. Папа даже вытер и убрал все наши тарелки. Я высунулась из окна. На улице было влажно, и сырой воздух горчил, как шерсть вымокшего под дождем животного. Собиралась гроза. Небо вдалеке темнело от огромных туч.

Я вернулась к себе в комнату, легла на кровать и уставилась в потолок. Полчаса спустя начался дождь. Я включила ноутбук и стала смотреть передачу про студентов, которые устраивали самосожжение в знак протеста. Больше всего мне было не по себе от того, что они не всегда умирали. Иногда их сердца продолжали биться, хотя кожа плавилась в огне. Какие же ярость и отчаяние надо испытывать, чтобы себя поджечь? Я даже представить не могла настолько сильную боль. Похоже ли это на сдирание кожи, на то, как очищают яблоко, снимая с него броню? Как быстро можно сорвать этот защитный слой, уничтожить кожу, и останутся мышцы, опутанные кровеносными сосудами? Именно такой иногда казалась мне Анук – яркий глянцевый клубок органов.

Папа ушел вскоре после полудня. Когда он завязывал шнурки, я спросила, скоро ли мы увидимся.

– Пока не знаю, милая, – сказал он.

Я смотрела на тонкие черные волосы, покрывающие его щиколотки. Я знала, что он занятой человек. Моя злость расцвела и угасла быстрее, чем тают на коже снежинки. Долго злиться на него я не могла. Я ждала в прихожей, когда он наденет куртку. Он поцеловал меня в обе щеки, ненадолго положив руку мне на плечо, потом взял портфель и вышел.

Вечером мы ужинали у Тео и Матильды. Они жили в девятнадцатом округе, возле парка Бельвиль. Мы с Анук вышли из метро, поднялись на холм и двинулись по улице вдоль парка. Мы молчали, думая каждая о своем, и мне казалось, что Анук чем-то озабочена – ей было несвойственно так долго не заговаривать со мной, когда мы шли куда-то вдвоем. Улицы круто поднимались вверх, парк утопал в темной листве – укромный, потаенный уголок, совершенно не похожий на роскошный Люксембургский сад, чьи железные ворота с заостренными пиками были видны издалека.

Когда мы подошли к нужному дому, Анук обрела привычную энергичность. Она набрала код, с усилием толкнула дверь и еле-еле удержала ее, чтобы я могла просочиться внутрь следом за ней.

Дверь в квартиру была не заперта, и мы вошли без стука. Анук направилась на кухню, я за ней. Матильда готовила заправку для салата. Я увидела, как моя мать отковыривает корочку киша, остывавшего в форме для выпекания. Стоило ей попасть на чужую кухню, она никогда не могла удержаться и пробовала горячую, ароматную, еще нетронутую еду. Она первой отламывала хрустящий краешек пирога. Единственное окно на кухне было у плиты. Я подошла к нему и стала смотреть вниз, на крышки мусорных баков во дворе.

Матильда попросила меня попробовать заправку и сказать, не нужно ли добавить еще соли или масла, но все, конечно, было идеально – хоть пей прямо из чашки. Она добавляла секретный ингредиент – чайную ложку майонеза. Тео накрывал на стол в другой комнате.

Мы приходили к ним на ужин по воскресеньям, а летом даже чаще, когда дни уже не были так плотно расписаны, мне не нужно было готовиться к экзаменам и небо оставалось светлым до позднего вечера. Я вспоминала, как в детстве наблюдала за взрослыми, сидящими за столом перед пустыми тарелками и пьющими вино, а потом засыпала на диване под одеялами, которые Матильда сшила сама. Я слушала, как Анук говорит с друзьями о папе, просит у них совета, спрашивает, справедливо ли, по их мнению, то или это, и чувствовала, что наша семья тяготит Матильду и Тео. Они очень любили нас и всячески поддерживали, но они были единственными людьми в нашем кругу, кто знал о папе.

Мне казалось, что Матильда потекает Анук. Она держалась с моей матерью очень уклончиво – может, боялась обидеть ее, если скажет то, что думает на самом деле. Хотя она никогда не осуждала папу в открытую, но высказывалась о нем очень сдержанно, и я решила, что она

не одобряет выбор Анук. Это потому, что она его не знает, рассуждала я сама с собой. Тео был склонен молча слушать, а не давать советы, предпочитая просто наблюдать со стороны. Может, они не считали себя вправе судить, а может, уже когда-то пытались переделать Анук и потерпели неудачу. “Ты свободнее, чем тебе кажется”, – сказала ей однажды Матильда, и Анук на это ответила, что ей нравится, насколько наша семья отличается от других, более традиционных. Я не поверила ей ни на секунду.

Наша жизнь могла показаться самой обычной. Как и большинство семей, иногда мы не разговаривали за едой. Нам случалось быть раздраженными и подавленными в обществе друг друга. Когда приходил папа, я часто бывала не в духе, потому что мне его не хватало, но после еды ускользала к себе, чтобы почитать или побыть в одиночестве. Мне хотелось отвесить Анук пощечину за то, что она слишком громко жует. Звук, с которым она сдувала отмершие частички кожи с пяток, когда чистила их пемзой над ванной, приводил меня в бешенство. Когда я говорю “мы”, я подразумеваю нас с ней вдвоем.

И потом, в нашей жизни было ожидание, превратившееся в рутину. Неделю за неделей я ждала его, ненавидела его за то, что он ушел, задавалась вопросом, любит ли он нас, скучала по нему, считала его лучшим из людей, потому что каждый час, проведенный с ним, был драгоценен. Так мы и жили – в бесконечном предвкушении встречи.

По утрам, когда Анук спала допоздна, я выходила на балкон и смотрела на улицу. Тротуар был так далеко внизу, что я не могла разглядеть трещины на нем. Я наблюдала за людьми, шагавшими торопливо, не поднимая головы. Я представляла сотни мужчин и женщин, которые тоже ведут двойную жизнь. Нас было очень много – детей тех, кто живет на две семьи, и мы мечтали оказаться по другую сторону барьера.

Когда я снова проснулась посреди ночи – после встречи с мадам Лапьер это повторялось постоянно, – моя кожа была влажной и холодной, и мне отчаянно хотелось перебраться на ту сторону, сделать так, чтобы не соприкасающиеся сферы наших жизней столкнулись. Я лежала в постели не шевелясь, мечтая вырваться из бесконечной рутины. Я чувствовала, как пульсирует внутри и будоражит меня это безумное желание.

4

Я стояла с бокалом шампанского в руке, прислонившись к стене, и наблюдала за Анук, которая лавировала в толпе в поисках друзей. Спектакль прошел не слишком удачно, и актеры не спешили выходить из гримерок. Мне не терпелось попасть домой.

Анук хотела, чтобы я ходила на такие вечеринки вместе с ней. Она думала, что мне понравится, что знакомства с новыми людьми расширят мой кругозор. Она хотела, чтобы я научилась свободно держаться с посторонними. Ее беспокоило, что у меня только одна подруга, Жюльет, и она считала, что все время сидеть в одиночестве вредно. “Что это за скучающий вид?” – сердито шипела она. Но мне не было скучно. Я просто уставала, и иногда мне приходилось щипать себя за бедро, чтобы не отключаться. Я думала только о том, что сейчас вернусь домой, лягу в постель и спрячусь под одеялом от гула голосов. Люди редко заговаривали со мной, и сама я не стремилась поддерживать беседу, предпочитая стоять в углу, не на виду. Иногда актеры постарше начинали со мной флиртовать, но, узнав, что я дочь Анук, поспешно отходили. Я потягивала шампанское, наслаждаясь тем, как колючие пузырьки лопаются на языке. Актеры вышли из вращающихся дверей, толпа качнулась к ним, и вскоре раздались громкие восклицания, свист и аплодисменты.

Я почувствовала, что позади меня кто-то есть, – у стены, как и я, стоял мужчина и наблюдал за актерами издали. Высокий, с русыми, почти золотистыми волосами, такими длинными, что он заправлял их за уши. Голубые джинсы, темная рубашка, рукава закатаны до локтей. Я подумала, что ему, должно быть, за сорок, хотя я не слишком хорошо умела определять возраст.

Он заметил мой взгляд.

– Умно, – сказал он, кивая на мое шампанское. – Вы успели взять бокал до того, как сюда спустилась вся толпа.

Стола, за которым разливали напитки, уже не было видно из-за спин.

– После спектакля людям захотелось пить, – сказала я, внимательно разглядывая его.

Красивое лицо, нос с легкой горбинкой, голубые глаза. Руки он спрятал глубоко в карманы джинсов. Наверное, он заговорил со мной из жалости, потому что я выглядела одинокой.

Он спросил, почему я здесь.

– Я пришла с матерью, – сказала я, указывая на Анук. – Она актриса.

– И прекрасная актриса. Анук Лув.

Получается, он ее знает. Я ждала, что сейчас он или уйдет, или попросит оказать ему услугу.

– Ваша мать была восходящей звездой, когда я начинал свою журналистскую карьеру.

Он так это сказал, будто больше она не звезда, и я ощутила болезненный укол в сердце.

Он назвал себя Давидом Перреном. Я сразу вспомнила это имя. Он писал длинные биографические очерки о людях творческих профессий, и я не сомневалась, что Анук была бы рада, если бы он написал о ней. Я подумала, что надо ему намекнуть, спросить, видел ли он ее последние спектакли, сказать, что за это время она изменилась, ее работы стали более зрелыми, и что хотя в них теперь меньше внешнего блеска, чем в те годы, когда она была танцовщицей, она по-прежнему играет хорошо, даже лучше, чем раньше. Но я промолчала, чувствуя изнеможение от одной только мысли о том, что придется осыпать ее похвалами. Я не хотела говорить о ней.

Давид спросил, понравилась ли мне пьеса. Я сказала ему правду – что я считаю ее натянутой и претенциозной. Мне не понравилась ироническая дистанция, которую актеры так стремились подчеркнуть, – ни нарочито искусственные интонации и жесты, ни отсутствующее выражение, с которым произносилось большинство реплик. Мне нужны были эмоции, я хотела

почувствовать связь с актерами, хотела, чтобы меня тронула их игра. Мне нужно было, чтобы спектакль пригвоздил меня к креслу, чтобы я до самого конца не отрывалась от происходящего и не хотела уходить. А тут я встала сразу же, как только наш ряд начал пустеть.

– Она лишена аутентичности, – прибавила я, изо всех сил стараясь придумать что-нибудь такое, что бы произвело впечатление на Давида, и упомянула выставку дадаистов в Центре Помпиду. – Они пытались сделать дадаистскую вещь, антипьесу, но им не хватило ни энергии, ни политического импульса, ни изобретательности дадаизма.

Его, кажется, изумило мое сравнение.

– Об этом я не думал, – сказал он, – но понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите, чтобы персонажи открыто выражали свои эмоции.

– Вы будете писать рецензию? – наконец спросила я и почувствовала себя глупо.

– Вообще-то не собирался, но теперь, может, и напишу. Меня заинтересовала ваша параллель с дадаизмом. Я случайно услышал, как кто-то из актеров говорил об автоматическом письме, и в любом случае планирую сходить на выставку в Центр Помпиду.

– Там представлена выдающаяся коллекция, – сказала я, тщательно подбирая слова в попытке продемонстрировать, что разбираюсь в теме.

– Вы говорите как студент-искусствовед.

Я покраснела.

– Правда? Я еще учусь в школе.

Он всмотрелся в мое лицо.

– Я думал, вы старше, – сказал он, помолчав немного.

Я вдруг почувствовала неловкость, вспомнив, что вокруг люди. Анук может нас увидеть, хотя это и неважно.

– Я заканчиваю в этом году.

– Я не знал, что у Анук Лув такая взрослая дочь.

– Она редко говорит обо мне.

– От ее игры веет одиночеством. Мне и в голову не приходило, что у нее могут быть дети.

– А сколько лет вы бы мне дали?

– Двадцать с небольшим.

– Наверное, это из-за роста.

Я была высокой, как мать, и людям часто казалось, что я старше.

Уголки его губ приподнялись в мягкой улыбке.

– В некоторых ролях ваша мать преобразалась кардинально, – сказал он.

Я была уверена, что он имеет в виду “Мать”, пьесу о женщине, которая убивает своих детей, – после этой роли карьера Анук пошла в гору и ее имя стало известным за пределами парижского экспериментального театра. Я знала, что эта роль требовала от нее большого труда, потому что она проводила весь спектакль на сцене, уходя только на пару минут, чтобы переодеться.

– Она относится к работе серьезно, – сказала я. – Иногда так вживается в роль, что продолжает играть даже дома. И я вижу, что она не может выбраться из головы своей героини.

– Как это?

Я немного подумала.

– Как будто остаешься с чужим человеком, – сказала я. – Такое же ощущение, как когда краем глаза наблюдаешь за незнакомцем, расхаживающим по твоему дому.

– Наверное, от такого бывает не по себе.

– Да я уже привыкла.

– Вы ею восхищаетесь, – сказал он. Его голос звучал уверенно. – Я это вижу.

– Я ее уважаю, но не хочу быть на нее похожей, – поспешно отозвалась я.

– Это нормально. Вы не хотите быть на нее похожей, потому что она ваша мать.

От улыбки в уголках его глаз залегли складки. Я допила шампанское. Когда Анук пила алкоголь, это было естественно, а мне каждый глоток давался через силу. Мне нравились губы Давида. Они были широкими и слишком яркими для мужчины.

– Могу я сказать вам кое-что по секрету? – спросил он и наклонился ко мне. – Часто, встречая детей знаменитых актеров, я поражаюсь, насколько они обыкновенные. Они или не так красивы, как их родители, или меркнут на их фоне, или в них просто нет искры. Правда, в редких случаях они бывают очень похожими на родителей. Сами они могут этого не осознавать, но в них есть та же незаурядность, то же сияние, которое сразу выделяет их в толпе. Например, Шарлотта Генсбур не отличается классической красотой, и все-таки от нее глаз не отвести.

Давид пристально смотрел на меня. Я ощутила внезапное желание понравиться ему.

– Вы хотите сказать, что я не отличаюсь классической красотой? – спросила я, почти не чувствуя, как шевелятся мои губы.

Он улыбнулся и слегка качнул головой.

– Вы красивы, как и ваша мать, но не настолько ослепительной и грозной красотой. Совсем как Шарлотта.

Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Анук вроде была где-то рядом, но, оглядевшись, я ее не увидела.

– Вижу, вы на короткой ноге с Генсбурами, – сказала я игривым тоном и покраснела, но мне было все равно.

Давид рассмеялся.

– Я хотел сделать вам комплимент, но только смутил вас.

– Вы меня не смутили.

Я заправила прядь волос за ухо.

– Ваш отец тоже актер? – спросил он, оглядывая толпу.

Мой затылок уперся в стену.

– Нет, – сказала я.

– Я был бы не прочь познакомиться с человеком, который женат на знаменитой Анук Лув.

– Мои родители не женаты.

Давид медленно кивнул.

– Я так и думал, что ваша мать не верит в брак. Сейчас ведь принято *не* жениться, да?

Я была рада, что он истолковал мои слова именно так и не пришел к более очевидному выводу, что мой отец уже женат на другой женщине.

– Я не знаю, что сейчас принято. Я не ищу себе мужа.

Давид засмеялся.

– Вы слишком молоды, чтобы об этом думать. Знаете, я помню, когда прогремела “Мать”, многие стали обсуждать личную жизнь вашей матери. Ходили слухи. Но не помню, чтобы слышал что-то про вас. Она говорила всем, что у нее никого нет.

Интересно, что именно ему известно и какие слухи он имеет в виду.

– Может быть, я плохо помню, – сказал он.

В том году папа перестал преподавать. Он три раза видел Анук в “Матери”. Тогда он еще мог появиться на публике, не вызвав переполох.

– Откуда вы столько знаете о моей матери?

– Тогда все о ней узнали. Она стала сенсацией. Мы всегда поражались, почему на мероприятиях она появляется одна. Видимо, ваш отец ведет очень закрытый образ жизни.

Я заметила, что Давид как бы невзначай высказывает разные предположения и ждет, как яотреагирую. Шампанское ударило мне в голову. Его вопросы взволновали меня. Я хотела рассказать ему кое-что, чего он не знал, хотела, чтобы весь наш мир разошелся по швам. Какое удовольствие – утаивать информацию, которую стремится получить собеседник.

Я загадочно улыбнулась и сказала, что для публичной персоны мой отец ведет на удивление закрытый образ жизни.

Как только эти слова сорвались у меня с языка, я ужаснулась. То, что несколько мгновений назад представлялось мне умным ходом, теперь показалось безрассудством. Я перестала дышать, надеясь вдохнуть свои слова обратно.

Лицо Давида напряглось, он переступил с ноги на ногу, но через мгновение к нему вернулась прежняя безмятежность. Я чувствовала, что он обдумывает мои слова в свете нового открытия. Вокруг звучали громкие разговоры – гости были пьяны и оживленно общались, – но теперь голоса отодвинулись на задний план, и нас словно окутала тишина.

Я увидела, что Анук говорит с режиссером. Скоро она будет меня искать. Нужно идти к ней.

Давид вытащил из кармана карточку и протянул мне.

– Если захотите поговорить, – сказал он. – Надеюсь, наши пути еще пересекутся, мадемуазель Лув.

Я смотрела ему вслед, и пальцы моих ног обволакивало мягким теплом. Чувство было таким, будто сидишь у окна, солнечный луч застает тебя врасплох и ты ощущаешь, как становится жарче, пока он скользит по коже и ненадолго согревает ее.

5

Мне не терпелось увидеть Жюльет после летней разлуки. В первый учебный день я ждала ее за воротами лицея. Нам предстояло отучиться полдня, узнать новое расписание и встретиться с классным руководителем. Жюльет, в джинсовой юбке и черной футболке, появилась на другой стороне улицы. Она помахала мне и ускорила шаг, ее босоножки на низком каблуке громко застучали по тротуару.

Мы обнялись и долго стояли не шевелясь. Я уткнулась лицом в ее волосы. Издалека они казались густыми и волнистыми, но на самом деле были легкими и воздушными. Они пахли свежестью, молоком и ванилью – со времен нашего знакомства она неизменно пользовалась одним и тем же шампунем.

– У меня столько новостей, – сказала она. Нос и щеки у нее загорели, на лбу появились новые веснушки.

– Как ты ухитрилась загореть в Бретани? – спросила я. Регион, где жили ее родители, славился тем, что летом там всегда пасмурно и холодно.

– Дождь шел почти каждый день, – сказала она. – Но солнце все равно светит, хоть и сквозь облака. Так и загорает незаметно, и к тому же я не пользовалась солнцезащитным кремом.

Она пожала плечами, явно довольная цветом своего лица.

– Я скучала по тебе, – сказала я. Интересно, видит ли она, что я похудела на два килограмма?

Мы с Жюльет подружились, когда только пришли в лицей, нам тогда было по пятнадцать лет. Мы обе были новенькие. Не то чтобы наше общение длилось долго – по большому счету, только два года, но нам казалось, что мы знаем друг друга всю жизнь. Мы сразу сблизились так тесно, будто дружили с самого детства.

Она жила одна в маленькой квартире-студии. Ее родители уехали из Парижа год назад, когда отец устроился начальником молочного производства в сельской части Бретани, а Жюльет решила остаться здесь, чтобы не уходить из школы. В городе, куда переехали ее родители, были только начальная и средняя школа, и ей пришлось бы тратить около часа на дорогу в приличный лицей, хотя я подозревала, что дело тут скорее в Париже и нашей дружбе, нежели в учебе.

Несколько раз в месяц я ночевала у нее, и мы оставались вдвоем, без родителей. Мы готовили ужин, менялись одеждой, делали уроки, по очереди мылись в узкой душевой кабине и проводили вместе столько времени, что Анук перестала спрашивать, когда я вернусь домой, если я говорила, что собираюсь к Жюльет.

Анук обещала матери Жюльет, что будет за нами присматривать, но ни разу не побывала в той квартире. Иногда я думала, что Жюльет, наверное, одиноко, что она скучает по родителям и сестре, хотя чаще завидовала ее свободе. Она вступила во взрослую жизнь раньше меня. Хоть я и лишилась девственности на полгода раньше, она первой испытала оргазм во время секса. Но больше всего я завидовала ее отношениям с матерью. “*Maman*”, – говорила она мягко, и тон ее становился еще ласковее. В моем же голосе во время редких разговоров с Анук, напротив, проскальзывали резкие нотки, потому что она звонила не для того, чтобы мило поболтать или поинтересоваться моим самочувствием. Она звонила сообщить, что я опять не сделала что-нибудь важное – забыла выключить свет, забыла, как быть хорошей дочерью. Я знала, что мать Жюльет не одобряет подход Анук к моему воспитанию, и, когда мы с ней виделись, она стремилась окружить меня заботой, как закармливают изголодавшегося ребенка.

В некотором смысле Жюльет, по-видимому, меньше зависела от своей матери, чем я – от своей, и все же мне казалось, что они ближе друг к другу, чем мы с Анук. Ее мать приезжала в

Париж на три-четыре дня и работала удаленно на кухне, надев очки и поставив на небольшой стол ноутбук. Она спала в одной кровати с дочерью – больше спать было негде, разве что на полу, – там же спала и я, когда оставалась у Жюльет с ночевкой. Ее мать держалась скромно. Она ставила чемодан вертикально в углу комнаты, косметичку хранила на нем, а туфли аккуратно оставляла у входа. Однажды я заглянула к Жюльет, чтобы передать ей домашнее задание, и увидела ее мать в ночной рубашке, и этот момент – худощавая фигура, скрытая под тонкой старой сорочкой, в которой она собиралась спать, – показался мне невыносимо интимным. Как-то раз я заглянула в ее косметичку и нашла там только увлажняющий крем, зубную щетку и пасту. Она не пользовалась духами и обходилась без макияжа. Ее женственность проявлялась разве что в жесте, которым она завязывала волосы, чтобы они не лезли в лицо.

Она приезжала как минимум раз в месяц и присылала Жюльет печенье, шоколад, чай и шампунь, как будто хотела избавить ее от необходимости заходить во “Франпри” по дороге из школы. Я восхищалась независимостью и взрослостью своей подруги – она была аккуратна, содержала квартиру в чистоте, даже вытирала раковину после того, как я почищу зубы, а время от времени еще и отмывала белые известковые потеки в душевой кабине.

Мы с Жюльет торопливо вошли в холл, чтобы посмотреть расписание, вывешенное на стене. Я все лето с ужасом ждала, когда начнется учеба, но с Жюльет все казалось не таким ужасным. Естественные науки нам не давались, и хотя учились мы старательно, но все же по математике и по физике-химии лучшими бывали редко. К счастью, мы учились в одном классе. Физику-химию у нас опять должна была вести мадам Рулле, которая имела привычку раздавать проверенные тесты в порядке возрастания оценки. Тем, у кого было ниже десяти баллов из двадцати, тесты просто швыряли на парту. Остальным бережно отдавали в руки. Получить больше пятнадцати у нее было практически невозможно. Она любила говорить, что наши работы – это просто *merde*¹⁰ и что если мы будем продолжать в том же духе, то завалим экзамены и останемся на второй год. Но у нас даже не было времени долго переживать унижение. Оно не стоило того, чтобы тратить на него силы, нас ждали новые контрольные, к которым надо было готовиться, а весной по субботам мы должны были сдавать пробные экзамены.

Мы с любопытством ждали занятий с новым учителем философии, месье Х. Мы слышали, что он молодой, чуть за тридцать, и что он несколько лет преподавал в Америке.

Вышло так, что философия как раз была первым уроком на следующий день. Месье Х. опоздал на пять минут, но, казалось, его это не смутило и он даже не слишком торопился. Уверенными движениями он вывел на доске свою фамилию, как будто мы не могли ее прочесть, заглянув в распечатанное расписание, и только после этого повернулся, чтобы поприветствовать нас.

– Добро пожаловать на первое занятие по философии, – сказал он.

Тон его был доброжелательным, улыбка – приятной. Темно-синий костюм подчеркивал белизну рубашки с расстегнутыми верхними пуговицами. Галстук он не надел. Он был долговяз, как подросток, и казался моложе своих лет. Я почувствовала, как все девочки в нашем классе оживились. Он сел на край стола, свесив одну ногу и поставив вторую на стул.

– Его съедят заживо, – прошептала мне на ухо Жюльет.

– Интересно, а имя у него какое? – отозвалась я.

Месье Х. взглянул на меня. Я покраснела, опустила голову и занесла ручку над голубыми строчками тетради, готовясь записывать.

– Отложите пока что ручки, – сказал он. – Сегодня мы с вами поговорим о понятии пространства. О том, что мы о нем знаем, и о том, как оно на нас влияет.

Он сделал паузу и слез со стола.

¹⁰ Дерьмо (фр.).

– Кроме того, мы порассуждаем о границах. О том, как мы проводим границы и какие виды границ существуют – как физических, так и воображаемых. Какие возникают проблемы, когда речь идет о границах?

В классе повисло молчание. Месье Х. повторил вопрос. Один мальчик с задних парт поднял руку.

– Все зависит от того, кто устанавливает эти границы. И от того, мешают ли эти границы кому-то другому.

– Именно, – сказал месье Х. – В первую очередь нам надо определить, что такое *личное* пространство и что значит уважать чужое пространство. Потому что когда мы больше всего склонны проводить границы?

– Когда боимся, – ответил все тот же мальчик.

– Да, когда мы чувствуем угрозу и пытаемся защитить себя, когда хотим что-то упорядочить, когда чего-то не понимаем, когда сталкиваемся с неизвестным. Один из способов осмыслить неизвестное – это отнести его к какой-нибудь категории и установить правила, так ведь? Мы хотим заключить неизвестное в рамки, классифицировать его, сделать своим. Но я забегаю вперед. – Он умолк и внимательно оглядел нас. – Я хотел бы начать с малого – с упражнения. Вам придется встать.

Мы переглянулись, не зная, действительно ли нам надо вставать.

– Давайте-давайте, пора немного размяться. Выйдите из-за парт, – сказал месье Х. – Нужно, чтобы никакая часть вашего тела не соприкасалась ни со стулом, ни со столом, ни с сумкой.

Заскрежетали стулья. Мы задвинули их под парты и встали сзади.

– Теперь закройте глаза.

Мы закрыли глаза. В классе было светло, и я изо всех сил старалась не размыкать веки. Все молчали. Мы ждали, пока мсье Х. заговорит.

Он велел нам мысленно нарисовать вокруг себя новое пространство.

– Представьте себе его углы и границы, будь то или осязаемые препятствия, или более эфемерные, как линия горизонта, или же просто пределы поля зрения. Начните наполнять это пространство содержанием. Это может быть что угодно. Дом, одна из комнат этого здания, собор. Подумайте о деталях.

Перед закрытыми глазами плавали цветные пятна. Сначала я не видела ничего, кроме темно-оранжевого цвета, давящего на веки. “А где твой центр?” – спросил тогда папа, чтобы я назвала место в нашем доме, которое ощущала своим.

Постепенно картинка начала проступать. Я представила горизонт и небо с густеющими облаками. Город вдалеке и церковь, окруженную домами. Зеленые поля, простирающиеся во все стороны. Я находилась в старом доме. Пол покрывал слой бурой пыли.

– Есть ли в вашем пространстве еще кто-нибудь, кроме вас? – спросил месье Х.

Я увидела на кухне человека, склонившегося над раковиной. На этой кухне собиралась вся семья. На стенах висели старые фотографии, на которых были запечатлены свадьбы и рождения детей, в углу стоял телевизор, длинный стол накрывала клеенка. Человек стоял ко мне спиной, и я не видела его лица, но догадывалась, что он молод, по сильным движениям ныряющих в раковину рук. Пол в длинном коридоре скрипел под ногами. В этот коридор выходили закрытые двери, за которыми скрывались спальни с деревянными кроватями и шкафами, а в самом конце – ванная комната с плесенью на плитке и аптечкой, забитой просроченным аспирином.

Я вернулась на кухню. Я почти не чувствовала школьного пола под ногами. Человек у раковины закончил мыть посуду. Он поставил последнюю тарелку на сушилку и обернулся. С его рук капала вода, превращая слипшиеся волоски в темные штрихи. Он искал глазами полотенце. Это был папа в своем центре, сияющий здоровьем, стройнее и намного моложе

себя нынешнего. Таким я представляла себе дом, в котором он вырос. Никто не рассказывал мне об этом доме, я никогда не видела фотографий, но теперь, закрыв глаза, ясно представила его себе. Кружевные занавески на окнах и цветы, высаженные на узкой полоске земли между домом и дорогой.

Месье Х. прервал молчание, велел нам открыть глаза и сесть. Он дал нам десять минут, чтобы написать текст на основе этого упражнения.

– Опишите процесс визуализации пространства, – сказал он.

Что мы увидели сначала? Какие границы задали? Какие детали отметили? Были ли в нашем пространстве участки, тянувшиеся до бесконечности? Он записал эти вопросы на доске.

– Давайте, – сказал он. – Возьмите ручки и приступайте.

Мы с Жюльет переглянулись. Разве мы не должны изучать Канта или Гоббса? Как будто прочитав эти мысли, месье Х. успокоил нас.

– На следующей неделе вы будете читать Декарта, но прежде, чем заставлять ваши умы работать, мне хочется их расшевелить.

Мы склонились над тетрадами, а он продолжал писать на доске. *“Сенсорное восприятие против интеллектуального. Осознанность. Негативное и позитивное пространство”*.

После двух уроков философии у меня был английский, у Жюльет – немецкий, а потом у нас обеих – перерыв на обед, история-география и два урока математики. Занятия шли одно за другим с пятиминутными переменами. Учеба закончилась в пять. Мы с Жюльет вышли на улицу и посмотрели на “Шез Альбер” – кафе напротив лицея. Оно негласно считалось местом, где бывают старшие ученики, и теперь, перейдя в выпускной класс, мы тоже могли туда пойти. Я заметила в окнах знакомые лица. Столики были почти все заняты, посетители заказывали кофе, на первой неделе никто еще не начал учиться всерьез. Что я буду делать на следующий год? Я никак не могла представить себя в будущем. Съеду ли я из нашей квартиры, если останусь в Париже? Буду ли действительно поступать в Институт политических исследований? После уроков с месье Х. во мне проснулось желание заняться чем-нибудь другим – может быть, связанным с текстами. Хотела бы я быть как Жюльет. Она-то всегда знала, что хочет быть кинорежиссером. Она хотела творить и каждый день, как губка, впитывала все, что видела вокруг.

– Пошли ко мне, – сказала Жюльет, прерывая мои размышления.

Я облегченно вздохнула и двинулась за ней к метро. Я уже представляла, как мы преодолеем несколько лестничных пролетов с неровными ступеньками и, запыхавшись, поднимаемся наверх, как пахнет свежестыранное белье на деревянной сушилке, как вечерний свет пятнами ложится на ее кровать. Мы будем сидеть на этой кровати с тарелками пасты и разговаривать часами.

Формируют ли нас пространства, в которых мы существуем? Наша квартира целиком состояла из границ, и, когда приходил папа, каждая стена укрывала нас, пряча от чужих взглядов и оберегая наше личное пространство. Эти границы существовали всю мою жизнь, и я всегда уважала их. Вне дома было сложнее. Последние три года мы перестали вместе ходить в рестораны – и папа, и Анук были уже слишком известны. Тем самым область наших возможностей со временем сузилась, и пространство, в котором мы могли перемещаться свободно, сжеглось до нашей квартиры – центра моего мира.

Жюльет большую часть времени проводила у себя дома одна, без родителей, но это был ее собственный выбор. Я заметила, что она не напрашивается ко мне в гости. Она приняла как данность то, что мы всегда ночуем у нее. Может быть, она чувствовала эту мою жажду существовать в других пространствах, мгновенную непринужденность, с которой я занимала левую половину ее кровати, ходила после нее в душ, делила с ней ее неизменный завтрак. Мне нравилось бывать у нее, нравилось, что меня принимают в ее доме как подругу и как дочь, что я становлюсь частью другого мира. У Жюльет мне казалось, что в мои легкие попадает больше

воздуха, тяжесть в ногах и руках постепенно проходит и я становлюсь невесомой, отрываюсь от земли и наконец могу дышать.

6

Несколько лет назад, поздней осенью, папа повез меня в далекий приморский городок на побережье Нормандии. Это Анук решила, что нам надо провести выходные вдвоем – пора отцу побыть с дочерью; у нее самой и в субботу, и в воскресенье были репетиции. Я собрала вещи за несколько дней до отъезда и в назначенное время ждала у дверей, а услышав, как к дому подъезжает его машина, бросилась вниз по лестнице.

Мы проехали через опустевший город. Было сыро и не по-осеннему тепло. Недалеко от берега виднелось несколько домов, к причалу были пришвартованы лодки. Пляж шел извилистой линией вдоль берега, от города его отделяла каменная стена со ступеньками с каждой стороны. Мы готовились к дождю и ветру и приехали в непромокаемых куртках и сапогах. Был отлив, и над пляжем висела уходящая вдаль белая дымка. Мы так ни разу и не подошли к самой воде.

Папа забронировал на две ночи номера в роскошном отеле в получасе езды от города. Это был старый особняк, переделанный в спа-центр, и в местном ресторане работал *chef étoilé*¹¹. Люди приезжали сюда на массаж и обертывания водорослями.

В вестибюле нам подали чай с лимоном и вербеной. Женщина за стойкой узнала папу и любезно поприветствовала нас.

– Значит, вы его крестница, – сказала она, явно довольная тем, что запомнила деталь его личной жизни. – Он говорил мне о вас. Я зарезервировала два смежных номера с кроватью “кинг-сайз” для мадемуазель.

Папа широко улыбнулся ей. У меня самой щеки онемели от улыбки. Я последовала за женщиной вверх по ступенькам с ковровой дорожкой, папа – за мной.

Я спросила, часто ли он сюда приезжает. Когда-то давно он привозил в этот отель свою маму, сказал он. У нее болели ноги, а от морской воды ей становилось лучше. Я никогда не видела бабушку. Она умерла, когда я была еще слишком маленькой, чтобы спрашивать о ней. Анук рассказывала мне о папином детстве. Его мать была простой, доброй и великодушной женщиной. Она знала о его отношениях с Анук и относилась к той с уважением и *délicatesse*¹², хотя и переживала, как бы необходимость жить на две семьи не оказалась для ее старшего сына слишком мучительной. Она-то представляла, что его жизнь будет открытой и честной.

Днем мы вернулись в город и припарковались недалеко от пляжа. Мокрый песок, похожий на слипшуюся грязь, простирался на сотни метров. Вдалеке я видела океан – темно-синий, с кружевом белой пены, сливающийся с небом. Мы пошли вдоль каменной стены.

Несколько месяцев назад его назначили министром культуры, и с тех пор он перестал говорить о работе. Раньше ему нравилось рассказывать мне о литературных фестивалях, об авторах, которых я могла знать, о том, как его раздражают коллеги, которые не отвечают на электронные письма по выходным. Но теперь, когда я спрашивала, как у него дела, он все время отвечал одно и то же. “*Ça va, ça va*”, – повторял он, все в порядке. Из его попыток успокоить меня было ясно, что ему приходится труднее, чем раньше, его работа стала более ответственной. Я воображала, как он сидит у себя в кабинете в Пале-Руаяль, и старалась представить, чем он занимается каждый день.

Прежде мне казалось, что папина карьера все время идет в гору, что он упорно стремится все выше и выше. В последнее время он как будто утратил уверенность – или, может, больше не мог позволить себе откровенность. Я вслушивалась в каждое его слово и прощупывала почву новым вопросом всякий раз, как в разговоре наступало затишье. Я хотела, чтобы он знал, что

¹¹ Шеф-повар, удостоенный одной или нескольких звезд Мишлен.

¹² Деликатностью (*фр.*).

мне интересна его жизнь, что он может поговорить со мной. Больше всего я любила, когда темп его речи ускорялся, – это свидетельствовало о волнении, готовом вот-вот прорваться наружу. Он говорил, что ему нравится рассказывать мне о работе, потому что я понимаю ее сложность. Однажды он сказал, что я умнее большинства моих сверстников и что хорошо бы стажеры, которые приходят к нему сразу после университета, были так же проницательны, как его дочь. Я вспоминала эти похвалы, когда папа прятался в скорлупу молчания. Зато когда он рассказывал мне что-нибудь, я сияла от гордости, и точно такой же блеск появлялся и в его глазах.

Мы были на пляже одни. Поднялся ветер, и я спрятала руки в карманы. Мы шли молча, но я чувствовала, что он готовится что-то сказать мне. Он откашлялся и мягко заговорил.

– Когда ты родилась, твоя мама пошла в *mairie*¹³, чтобы зарегистрировать тебя как свою дочь. Я с ней не пошел. Мы решили, что лучше в твоём свидетельстве о рождении не будет моей фамилии.

Я прокручивала его слова в голове. Папа встревоженно ждал моей реакции, но для меня это не было новостью. Я давным-давно знала, что его фамилия не указана в моем свидетельстве о рождении. Я подслушала, как Матильда и Анук говорили об этом поздно вечером, думая, что я уже сплю. Звуки их голосов поднимались по лестнице и доносились через приоткрытую дверь. Анук жалела, что не заставила его тогда пойти с ней, и они с Матильдой спорили об этом.

– Но ты мой отец, – в конце концов сказала я.

– Конечно, *ma chérie*, но поскольку моя фамилия не значится в свидетельстве, официально ты не считаешься моим ребенком.

Эти слова не должны были произвести такого впечатления – я всю жизнь делала вид, что у меня нет никакого отца, – но они поразили меня с незнакомой прежде силой. Я почувствовала, как что-то сжимается в груди. Я покосилась на него. Он опустил голову, чтобы не смотреть мне в глаза.

– Я решил дать тебе свою фамилию. Мы с твоей мамой пойдем в *mairie* и внесем в свидетельство исправления.

Я кивнула.

– Я собираюсь официально признать тебя.

Было видно, что он ждал от меня восторженной реакции, ждал, что я скажу: “Как это здорово, молодец, *Papa*”, – и похлопаю его по спине. Я выдавила из себя улыбку.

– И если со мной что-нибудь случится, все, что у меня есть, будет поровну разделено между тобой и твоими братьями.

“А как же Анук?” – подумала я. Вероятно, он считал, что я возьму заботу о ней на себя.

Ветер распахнул его пальто, обнажая шерстяной свитер. Он всегда ходил, ставя ноги носками наружу и сцепив руки в замок за спиной. Зачем признавать меня сейчас, если он не сделал это сразу после моего рождения? Я часто потом возвращалась к этому вопросу и жалела, что не задала его сразу. Наверное, была слишком потрясена.

– Ты болен или что-то случилось? – только и смогла произнести я.

– Нет-нет, – сказал он, – тебе не о чем беспокоиться. Я доживу до девяноста лет. А твоя мама – до ста.

Он сделал глубокий вдох.

– Я люблю этот запах, – сказал он, – соленый воздух, влажность. Мне нравится такая погода, когда небо затянуто облаками.

Я вдруг подумала, что в ноябре на этот пляж не поехал бы никто из наших знакомых.

¹³ Мэрию (фр.).

Папа повел меня ужинать в рыбный ресторан на окраине города. Когда-то они дружили с шеф-поваром, и папа надеялся, что тот все еще там работает. С их последней встречи прошло почти десять лет. Стемнело, фонарей на улице не было, но папа хорошо помнил дорогу, и десять минут спустя он показал мне ресторан на уже спящем перекрестке. Это было здание с большими квадратными окнами – единственный источник света на улице. Внутри он не производил особого впечатления. Белые скатерти и салфетки, на стенах несколько черно-белых фотографий в рамках. Официант усадил нас около окна. Папа спросил, здесь ли Пьер, и официант тут же приветливо заулыбался.

– Шеф-повар на кухне, – отозвался он. – Я ему скажу, что вы тут.

Намазывая масло на хлеб, папа склонился ко мне.

– То, как выглядит этот ресторан, не главное. Сюда приходят ради еды. – Он огляделся с заметным удовольствием. – Ресторан не менялся с тех пор, как открылся в восьмидесятые. Тут всем безразлично, кто ты такой.

Я посмотрела на других гостей – в основном это были пожилые пары.

– Летом зал набит битком, – прибавил папа, – но обслуживание здесь всегда безупречное.

К нашему столику подошел высокий мужчина в белом поварском кителе. Он потряс папину руку как давний знакомый. Папа поднялся и поцеловал его в обе щеки.

– Как же я рад нашей встрече, – сказал шеф-повар. – Месье министр!

Некоторое время они стояли и изучали друг друга. Потом шеф-повар повернулся ко мне.

– Ты похожа на своего отца в юности. Сейчас ты настоящая красавица.

– Добрый вечер, месье, – сказала я. – Приятно с вами познакомиться.

– И хорошо воспитана, – сказал шеф-повар, поворачиваясь к папе. – Сколько же ей лет?

Сердце подпрыгнуло и забилось у меня в горле. Я боялась, что папа забыл.

– Четырнадцать, – ответил он без запинки.

– Ты не помнишь, что уже была здесь, да? – спросил шеф-повар. Его ласковые глаза слегка сощурились, когда он вглядывался в мое лицо. – Тебе было лет пять, но я должен сказать, что ты съела целую тарелку супа из спаржи.

Папа засмеялся.

– Пьер сделал еще и красивое блюдо из авокадо специально для тебя. Он нарезал его тонко-тонко, как бумагу, и разложил веером на тарелке. И как только ты увидела авокадо, Марго, ты взяла вилку и размяла его.

– Ну а как еще она должна была его есть? – сказал шеф-повар. – У нее хорошее чутье, совсем как у ее отца.

– У нее чутье куда лучше, чем у меня, – отозвался папа.

Шеф-повар похлопал его по руке, сказал, чтобы он садился, и пожелал приятного аппетита. Сегодня он о нас позаботится.

До того момента мне и в голову не приходило, что кто-то из папиного окружения может знать обо мне. Был ли шеф-повар знаком с Анук? Его как будто не смущало такое положение дел, и в тот момент я подумала, что он и сам живет на две семьи.

Папа ел с большим аппетитом. Соленая треска, запеченная с картофельным пюре со сливками, была подана в маленьких кокотницах. Мидии покоились в соусе из белого вина с чесноком, который мы доедали ложками. Губы у меня щипало от соли. Папа заказал бутылку белого вина и налил мне бокал. Я пила алкоголь и раньше, но со взрослыми – никогда. Еще не сделав ни глотка, я уже чувствовала себя опьяневшей от еды. На десерт шеф-повар вынес нам *crêpes suzette*¹⁴, которые папа всегда заказывал в ресторанах, и поджег ликер. Папа приподнял блин-

¹⁴ Блинчики, которые перед подачей пропитываются апельсиново-карамельным соусом с добавлением ликера, а потом поджигаются.

чики обратной стороной ложки, чтобы соус стек на тарелку и пропитал их снизу. Я чувствовала запах жженого сахара и апельсинов.

– Посмотри, какие края, – сказал он, поддевая их ложкой. – Похожи на кружево.

Когда мы уходили из ресторана, я чувствовала себя нормально, но уже в номере согнулась пополам от резкой боли в животе. Я побежала в ванную, склонилась над унитазом, и меня вывернуло наизнанку. Я разулась и разделась, бросая вещи одну за другой прямо на пол, – неряшливость, на которую дома я бы не решилась.

Зеркало занимало всю стену в ванной, которая была больше, чем моя комната дома, и, когда я шла из одного угла в другой, меня сопровождало мое отражение. Я остановилась и едва ли не впервые по-настоящему рассмотрела себя в зеркале; обычно я просто окидывала лицо беглым взглядом, пока причесывалась или мыла руки. Для моих лет у меня оказалась хорошо развитая фигура – бедра уже стали шире талии. Черты лица были мелкими и невыразительными, кроме разве что россыпи веснушек на скулах. И потом – рот. Я унаследовала губы Анук. Широкие, бледно-розовые. Когда она красилась, ее рот превращался в алую рану, такую яркую, как будто ее хлестнули по лицу. На лице взрослой женщины эти губы выглядели эффектно, на моем – гротескно. Я представила, как мой рот поглощает меня целиком. Как это должно было коробить – чувственный, пухлый треугольник на маленьком и узком лице.

Я долго стояла под душем, намыливаясь гостиничным мылом, и терла под мышками и между ног маленьким полотенцем.

Кровать была чудовищной ширины. Может, надо спать поперек? Я откинула край одеяла, залезла под него и легла почти на самом краю. Раньше я всю жизнь спала на односпальной кровати. Ночью я случайно закидывала то руку, то ногу в середину и тут же отдергивала, стоило мне коснуться холодной простыни. Это получалось невольно – вообще-то я должна была прийти в восторг от этой кровати и от ее размеров. Я прислушивалась к соседям сверху, к тому, как рядом, за толстой деревянной дверью, спит папа, но везде была глубокая тишина.

Мне удалось поспать кое-как, урывками, и разбудило меня заливавшее комнату солнце. Я забыла задернуть шторы. С кровати через окно были видны зеленые поля, разделенные темными изгородями. Я вспомнила, как папа вчера назвал меня своей крестницей. Его ложь потрясла меня – даже не потому, что это была ложь, а потому что он произнес это с абсолютной уверенностью, с какой говорят правду. Я прислушивалась, пытаюсь уловить обман. И в отеле, и в ресторане с Пьером он говорил одним и тем же тоном. Может быть, считал, что я не совсем его дочь, пока он не указан как отец в моем свидетельстве о рождении. А может, так проявлялась его двойственная натура. Я перекатилась на другую сторону кровати, забыв о ее размерах, и вздрогнула от прикосновения холодной простыни к теплой коже.

Когда несколько часов спустя мы уезжали из отеля, администратор вышла из-за стойки и помахала нам. Шел дождь, и мы поспешили к машине. Папа вырулил с подъездной дорожки на усаженную деревьями аллею, а оттуда на шоссе.

– Ты хорошо провела выходные, *ma chérie*? – спросил он.

Я уставилась в окно и сказала, что да.

Около часа мы ехали молча. По-прежнему глядя в окно, я почувствовала, как машина вильнула влево и наехала на маленькие бугорки, разделяющие полосы. Я посмотрела на папу, державшего руль обеими руками. Нам оставалось ехать еще около полутора часов или даже больше, если от Порт-де-Сен-Клу начнется затор. Он сказал, что ему нужно остановиться на обочине и поспать несколько минут. Мы затормозили на ближайшей стоянке для отдыха.

– Ты не спал ночью? – спросила я.

Он объяснил, что работал допоздна – готовился к важной встрече, которая должна была состояться на следующий день. Заглушил мотор и облокотился о дверцу.

– Всего пятнадцать минут, – сказал он, подпер лоб ладонью и закрыл глаза.

Через несколько минут он уже храпел. Я смотрела на него, пока он спал. Веки у него были бледными, почти белыми, а кожа на лбу – красной и воспаленной. Брови нахмурились, рот приоткрылся. Во сне он казался старше. Я подумала, что и мне, наверное, стоит поспать, но всякий раз, закрывая глаза, продолжала видеть его лицо. Я смотрела через лобовое стекло и ждала.

Проснувшись пятнадцать минут спустя, как будто в голове у него был будильник, он потер глаза и завел мотор. Еще минута – и мы снова ехали по шоссе.

– Когда ты была маленькой, – сказал он, – я приходил к тебе перед сном. Я знал, что ты ложишься около половины девятого. Я ужинал с Клэр и мальчиками, мыл посуду, а потом говорил им, что мне нужно вернуться в офис. Но на самом деле я шел к тебе. Я садился на стул возле твоей кровати. Иногда мог пройти час, два часа, а ты все не засыпала. Ты прижимала мою ладонь к своей щеке, а когда я, решив, что ты спишь, пытался ее высвободить, резко распахивала глаза. Ты с вызовом смотрела на меня из темноты – уйду я или нет?

Папа засмеялся и покачал головой.

– Однажды ты спросила, могу ли я отрезать руку и оставить ее тебе. Так и сказала: “Как здорово было бы, если бы можно было отрезать твою руку! Можешь идти, только ее мне оставь”.

Я продолжала смотреть прямо перед собой через лобовое стекло.

– Я не мог пошевелинуться, – сказал он, – ничего не мог сделать. Ты держала мою правую руку, а для чтения было слишком темно. Мне приходилось сидеть и ждать, пока ты заснешь. Но мне никогда не было скучно и я ни разу не захотел уйти.

После тех выходных я задумалась, что это могло значить для папы – открыто признать нас с Ануком. Если он назовет меня своей законной дочерью, есть опасность, что об этом узнают другие – его жена и сыновья, его коллеги. Раньше я думала, что хорошо представляю, как мы все будем жить дальше, но теперь уже не была ни в чем уверена. Шеф-повар в ресторане знал обо мне, а значит, папа должен был рассказать правду близким друзьям и коллегам. Кто еще знал о нас? Я начала воспринимать себя как его тайну, а не как нечто несуществующее.

Каждый раз, заполняя анкету в начале учебного года, я писала “актриса” в графе, предназначавшейся для Анука, и оставляла папину графу пустой; я чувствовала неладное, но не могла толком объяснить эту смутную тревогу. У меня был отец, и, приходя к нам, он заполнял собой весь мой мир и даже затмевал Анука. Моя любовь к нему была всепоглощающей, абсолютной. Я помню, как он появлялся у нас в дверях после долгого отсутствия, когда я была маленькой. Это было похоже на трюк фокусника. Его присутствие озаряло все более ярким светом, чем присутствие матери, потому что она была со мной всегда и оглушала меня своей театральностью. Я отчетливо помнила время, проведенное с ним: тихие полуденные часы, обед в брассери с видом на Люксембургский сад, выходные в Нормандии – все заканчивалось, но запечатлевалось в моей памяти. А когда мы расставались, я прокручивала эти сцены в голове, пока они не становились всей моей жизнью, а не отдельными днями.

Я бы не рискнула произнести это вслух, но я была уверена, что мне принадлежит особый статус младшего ребенка и единственной дочери. Неважно, что мы его вторая семья, а Анука – его любовница, и неважно, что мое с ним родство не признано официально. Я появилась на свет последней, и это событие было свежо в его памяти.

Наша история не была похожа на историю Франсуа Миттерана, бывшего президента Франции, и его внебрачной дочери Мазарин. Мне хватало ума чувствовать разницу в масштабе. Миттеран проводил отпуск поочередно с обеими семьями, на его похоронах обе женщины и их дети стояли бок о бок; папины же миры существовали параллельно и никогда не пересекались. Иногда я думала, что ему, наверное, есть что терять, потому что он менее влиятелен и пока только строит свою политическую карьеру.

Но, может быть, у нас с дочерью Миттерана и с бесчисленным множеством других таких дочерей было кое-что общее: для каждой из нас отец был чем-то всеобъемлющим. Он не мог заболеть, он бы никогда нас не бросил. Глубоко в душе я знала, что мой отец – великий человек и что он любит меня.

Я часто мысленно возвращалась к тому разговору на пляже. Я вспоминала, как он храпел в машине, проработав всю ночь, хотя поехал со мной отдыхать. Я вспоминала, как в детстве прижималась щекой к его руке и силилась не засыпать, чтобы побыть с ним. Я чувствовала, как давит на нас обоих его усталость, каким тяжким бременем лежит на нем необходимость таиться и в то же время желание радовать и защищать меня, когда я хочу занять собой весь его мир. Я жила со странным ощущением, разрываясь между чувством вины за то, что я – его слабое место, и отчаянным желанием стать для него всем.

Правда, в последнее время я начала его терять. Никакого свидетельства о рождении по почте так и не пришло, а спросить Анук мне не хватало смелости. Без официального документа ничто определенное нас не связывало. Он мог бросить меня. Я была не так глупа, чтобы не понимать важность письменных договоренностей. Если когда-нибудь он станет такой же значительной персоной, как Миттеран, кем тогда буду для него я? Кем-то, о ком нужно умалчивать. И мне начало казаться, что Анук с ним в сговоре, что она, возможно, хочет и даже предпочитает, чтобы о нашей тайне никто не знал.

7

Однажды рано утром, перед тем как идти в школу, я написала Давиду. Мой стол стоял под окном, и, поднимая голову, я видела крыши зданий на противоположной стороне улицы. Небо наливалось бледным светом. Когда в продуктовом магазине по соседству поднялись металлические жалюзи, я поняла, что пора одеваться.

Самыми простыми словами, какие только могла подобрать, я объяснила Давиду, что моя мать в отношениях с женатым мужчиной, что он политик и что именно поэтому я тогда так уклончиво отвечала на его вопросы. Об их отношениях мало кто знает. После этого я закрыла ноутбук, оделась и спустилась завтракать.

Весь день я думала о том, как Давид будет читать мое письмо. Я специально не стала ничего уточнять и теперь гадала, поймет ли он, кого я имела в виду. Может быть, ему не слишком интересно, что Анук встречается с политиком, и уж тем более – что тот еще и женат. Во мне подспудно всегда жила мысль, что если я расскажу обо всем кому-то, кто не должен знать, то это будет землетрясением, катарсисом, с моих плеч спадет тяжкий груз, – и вот сейчас я с изумлением почувствовала, что почти ничего не изменилось. Небо не обрушилось на меня, и самой мне не стало ни лучше, ни хуже.

Когда я вернулась домой, от Давида пришел ответ. Он рад нашему знакомству, писал он. Это было напоминание о том, что случайные встречи могут иметь большое значение. Мое письмо подтвердило слухи о моих родителях. После нашей беседы он просмотрел свои старые материалы девяностых и начала двухтысячных, связанные с политикой, особенно с президентскими выборами в две тысячи втором, когда “Национальный фронт” вышел во второй тур. Он обнаружил, что тогда и начались разговоры о моем отце – многообещающем молодом политике, который как раз попал в поле зрения журналистов. Он спрашивал, не имею ли я в виду нынешнего министра культуры.

Мы начали писать друг другу дважды в день. “Это, наверное, тяжело, когда родители скрывают факт твоего существования”, – писал он. Мы обменивались деталями собственных жизней. Он рассказывал о своих буднях в офисе; о кофемашине “Неспрессо”, которую их главный редактор принес из дома и поставил на свой стол, чтобы можно было бесконечно пить кофе; о человеке, который по вторникам играет на гитаре в метро около его дома; о том, что сейчас он пишет статью об Эмманюэль Дево. Я с нетерпением ждала писем от него и тщательно продумывала ответы, чтобы они были непринужденными, но без детской наивности. Я остро ощущала нашу разницу в возрасте и тратила больше времени, чем обычно, на формулирование своих мыслей. Перед отправкой я перечитывала письма дважды.

Что, если я больше не хочу, чтобы мое существование было тайной? Что, если я хочу другую жизнь? Эти вопросы постоянно вплетались в описание наших с матерью будней. Я рассказывала о холодности Анук, нарочно утрируя ее причуды. Я описывала себя купавшимся в роскоши, но заброшенным ребенком. Я боялась наскучить ему историями про мать. Я так ему и написала, добавив, что осознаю, насколько я моложе его. “Когда я читаю ваши письма, наша разница в возрасте стирается, – ответил Давид. – Говорят, мудрость приходит с опытом, а уж его-то у вас достаточно”.

Однажды поздно вечером, когда я давно уже должна была спать, мы обменялись несколькими очень короткими письмами.

“Вы знаете, кто мой отец, – написала я, осмелев от того, что между нами завязалась дружба – или нечто похожее на дружбу. Откровенность давалась мне легче, когда я могла спрятаться по другую сторону экрана. – Что вы будете делать с этой информацией?”

“Вы хотите, чтобы я что-то с ней сделал? – спросил он. – Я не буду разглашать конфиденциальные сведения. Даю вам слово”.

“А если я хочу, чтобы вы кое-что сделали?”

Он ответил через двадцать минут.

“О чем вы?”

“Может ли кто-нибудь еще обо всем узнать?”

“Вполне. Когда ведешь публичную жизнь, такая опасность есть всегда, и нужно быть осторожным”.

“Для этого потребуется доказательство – какой-нибудь факт, фотография”.

“Вы говорили об этом с матерью?”

Я не ответила. Меня разозлило, что наш разговор опять вращается вокруг Анук. Я не хотела, чтобы решение принимала она. Я сходила в душ и приготовила одежду на завтра. Близились полночь, а мне надо было вставать в шесть, но я еще раз заглянула в почту, перед тем как лечь. Он прислал длинное письмо.

“На вашем месте я бы тоже думал об этом, – писал он, – но сомневаюсь, что мне хватило бы смелости рассказать обо всем. . . Если вы решитесь заговорить о своей семье – я имею в виду, не в рамках частной беседы, – вам придется свыкнуться с тем, что ваша жизнь радикально изменится. Если вы согласны на это пойти, я вам помогу”.

Я поблагодарила его и спросила, не повредит ли это папиной карьере.

“Неизвестно. Это в любом случае будет иметь последствия, но главным образом повлияет на его семейную жизнь”.

Давид сообщил, что готов написать статью, однако для этого ему понадобится сначала взять у нас с Анук интервью. Потом он обратится за комментариями к моему отцу. Я призналась, что на самом деле намерена сделать эту историю публичной, но чтобы утечку информации не связывали со мной. Я заранее боялась интервью, того, что окажусь в центре внимания, и меньше всего хотела впутывать в это Анук. Конечно, я не могла сказать ей о переписке с Давидом. Я знала, что она это не одобрит и запретит мне что-либо рассказывать – она считала, что папа неспособен расстаться с женой. Я решила, что они оба трусы. Надо раскрыть тайну нашей семьи и вытолкнуть его на авансцену. Когда я как-то сказала Анук, что жизнь несправедлива, она ответила, что жизнь всегда несправедлива. Несправедливо, что мы должны делить папу с кем-то еще, что мы для него на втором месте, что я никогда не рассказывала о нем никому, кроме Жюльет. Скоро ничего из этого не будет иметь значения. На следующий год я стану взрослой, он перестанет видеть во мне свою маленькую девочку, и что тогда? “Ты всегда будешь его дочерью”, – говорила Анук, но эти слова не приносили мне утешения. Что, если он подумает, что я больше не нуждаюсь в его заботе, в его присутствии? В следующем году выборы, и мы будем видеть его совсем редко.

Я продолжала искать фотографии мадам Лапьер. Нашла снимок с торжественного приема, где оба они были в элегантных вечерних нарядах. Я вглядывалась в ее лицо так долго, что оно стало зернистым, а белозубая улыбка слилась со щеками. Я с удовольствием отметила, что ее платье вульгарно собирается в складки на бедрах.

Давид предложил перепоручить разоблачение своему старому другу, журналисту-фрилансеру, который иногда писал для таблоидов. Я отправила ему нашу с папой фотографию, которую сделала Анук, когда мне было пятнадцать. Папа обнимал меня за плечи, а мое лицо, обращенное к нему, было наполовину закрыто длинными волосами. Он улыбался и, казалось, вот-вот должен был рассмеяться. Я была младше, чем сейчас, но узнать нас обоим было нетрудно. Я выбрала одну из немногих фотографий, которые были дома у папы. Я не знала, где именно он ее хранит и не потерял ли он ее вообще. Мы подарили ему такую фотографию на прошлое Рождество.

В воскресенье, когда закончилась вторая учебная неделя, приехал Тео и повез меня в бассейн, пока в открытом комплексе не кончился сезон. Анук все выходные была на репети-

циях, а Матильда дорабатывала костюмы для спектакля по Мольеру. Мы пару раз проплыли туда-сюда, чтобы охладиться, и устроились на траве. Мы забыли полотенца, но было слишком жарко, чтобы об этом беспокоиться. Солнце высушило нас за несколько минут.

Я принялась рассматривать людей. После лета одни стали бронзовыми, у других обгорели бедра и плечи, третьи упрямо остались незагоревшими. Матильда была светлокожей и не любила солнце. Я никогда не спрашивала Тео, сколько ему лет. Я предполагала, что пятьдесят, но с его фигурой танцовщика ему могло быть от сорока до шестидесяти. В этом он напоминал Анук, но его возраст было еще труднее определить из-за того, что он мужчина, – так, по крайней мере, она говорила. Только морщинки и пигментные пятна на руках выдавали, что он немолод. Матильде же в этом году исполнилось сорок девять, и она открыто говорила о своем возрасте, красила волосы в красивый цвет красного дерева и не пользовалась косметикой. Она всегда была чуть полнее Анука, но казалась моложе благодаря гладкому и круглому, как луна, лицу. Детей у Тео и Матильды не было. Они избегали говорить на эту тему, а когда я однажды задала вопрос Ануку, та отмахнулась. Хотели ли они детей? Пытались ли? Я побоялась спрашивать еще раз, чтобы это не повлекло за собой другие неудобные вопросы.

Я побарабанила пальцами по коленке, думая о Давиде и о том, когда выйдет первая статья. Он сказал, в понедельник. Завтра. Мне вдруг пришло в голову, что это может кончиться ничем. Статью никто не заметит, и наши жизни будут спокойно течь дальше, спрятанные в рукаве большого города.

Тео заметил мое взвинченное состояние и спросил, все ли в порядке.

– У меня уже куча домашних заданий.

– Я ненавижу учебу в старших классах, – сказал он. – И учился не слишком хорошо. Кажется, моя жизнь началась только после выпуска.

– Спасибо, – сказала я и вздохнула.

– Ты и глазом не успеешь моргнуть, как все закончится.

Я кивнула, разглядывая свои загорелые ноги. Скоро они утратят золотистый летний оттенок.

– У тебя в классе есть интересные мальчишки?

Вопрос Тео вызвал у меня улыбку. Я мысленно перебрала своих одноклассников. Большинство выглядели как дети и вели себя как дети. Половина носила очки. Одни были полностью поглощены учебой, другим не хватало мозгов. Тут я подумала о Давиде.

– Я встретила кое-кого на одной из вечеринок Анука, – сказала я и тут же пожалела, что открыла рот. – Но из этого ничего не выйдет.

Тео изучал мое лицо.

– Почему ты так говоришь? Потому что он актер?

Я засмеялась.

– Я никогда не стала бы встречаться с актером. Он намного старше меня.

– На сколько?

– Вдвое. – Я густо покраснела.

Несколько минут мы молчали. Я щипала травинки между пальцев босых ног.

– Это пройдет, – сказал Тео, дотрагиваясь до моего плеча.

– Что?

– Ты хочешь дистанцироваться от матери.

– Это она хочет, а не я.

– Я знаю, что иногда это так выглядит. Она всегда была независимой, но ты ей дорога.

От нашего разговора мне стало неловко, и я попыталась сменить тему.

– Расскажи, – попросила я, – как вы познакомились с Матильдой.

Я знала, что Тео любит эту историю, но никогда не слышала ее целиком.

Он начал описывать их первую встречу, и его глаза засияли. Она сидела у окна в кафе на углу, недалеко от его дома. Он сотни раз проходил мимо этого кафе, но раньше ни разу не бывал в нем – слишком уж безликим оно выглядело. И вот он толкнул дверь и сел за столик по соседству с ней. Кофе был жидким, и официантам не понравилось, что он больше ничего не заказал. Он промаялся часа три, прежде чем подойти к Матильде.

– Удивительно, что она не ушла, пока ты собирался с духом, – сказала я.

– Она писала что-то в блокноте и то и дело заглядывала в сумку, и всякий раз я думал: ну все, сейчас она достанет кошелек и будет рассчитываться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.